

Александр
ГОРЛОВ

СЛУЧАЙ НА ДАЧЕ

Часть II

КАК ОСТАТЬСЯ ЧЕЛОВЕКОМ?

Сейчас октябрь 1973 года. Я продолжаю начатый мной около двух лет назад дневник, так как последовавший после тех дней ход событий, по-моему, этого заслуживает.

Внешне моя жизнь и жизнь моей семьи протекала как будто никак не отлична от привычных для нашей страны норм. Я работал в прежней должности, и никто меня не трогал. Но ставший теперь общеизвестным факт моей близости к А. И. Солженицыну представлялся большинству столь диким в условиях нашей жизни, что это неизбежно накладывало отпечаток на отношения людей ко мне. Друзья (а их не стало меньше) относились ко мне с подчеркнутой теплотой и вниманием, все другие знакомые — с любопытством. Официальные же, как у нас говорят — «вышестоящие» чины, с которыми я имел дело по службе, смотрели на меня так, будто я только что слез с дерева и стал на задние лапы, забыв надеть набедренную повязку. Конечно, были скрытые вокруг меня течения, о которых я скажу позже, но внешне сохранился статус-кво.

Так было до конца 1972 года, когда в наш институт, который переименовали в ЦНИПИАСС, пришел новый директор, некто Гусаков А. А. Старый директор — умный, интеллигентный, осторожный человек, которому никогда не изменяло чувство реальности, ушел на пенсию. Одной из задач нового директора, как он потом объяснил на совещании начальникам отделов, было провести «чистку». Очень быстро стало меняться и мое положение. Произошли события, после которых я написал и отправил письмо на имя Л. И. Брежнева, в котором протестовал против начатой кампании политической травли меня на работе.

Конечно, основным мотивом, побудившим меня к такому письму, была еще не

угасшая надежда как-то «легально» продвинуть дело с защитой докторской диссертации, которая была итогом моего почти 10-летнего труда. Посвящена она была разработке общего подхода к автоматизации расчета и проектирования фундаментов и называлась: «Некоторые задачи расчета и исследования конструкций на грунтовом основании». К этому моменту дело с защитой зашло в абсолютно глухой тупик, из которого я не видел выхода.

В хронологическом порядке события вокруг моей защиты развивались следующим образом.

Как только зарубежные радиостанции начали передачи об инциденте со мной на даче Александра Исаевича, в НИИ оснований, где должна была состояться защита моей диссертации, было решено каким-либо способом вернуть мне диссертацию и все документы. До меня дошли даже слухи о том, что учений секретарь Совета А. П. Глушко ходит по институту и жалуется на судьбу: «Надо же! Я никогда не верил евреям. Первый раз одному поверили, так и тот оказался другом Солженицына!»

Но вскоре, после того как мне были принесены извинения от Наро-Фоминской милиции, изменилась обстановка и с диссертацией.

Мне рассказали, что из института ездили «куда надо» за разъяснением, как быть с моим делом. Якобы «разъяснили», что делу должен быть дан «естественный ход». Но так как никто не брал на себя смелость решить, как в данной ситуации понимать термин «естественный ход», то все и стояло на месте.

Я ждал, временами наведываясь к ученному секретарю, но получал стереотипный ответ: «Совет перегружен».

Однажды (было это, кажется, в середине марта 1972 года) позвонили из Ученого совета:

— Товарищ Горлов, завтра в 10 утра состоится предварительное обсуждение Вашей диссертации на совместном заседании профилирующих лабораторий. Приезжайте, пожалуйста, чуть пораньше в зал заседаний, чтобы успеть развесить плакаты.

Процедура защиты диссертации состоит из двух стадий. Первая стадия — предварительное обсуждение диссертации («апробация») на заседании профилирующих лабораторий с участием членов Совета — специалистов в рассматриваемой области. Именно здесь происходит детальное профессиональное рассмотрение всех аспектов диссертации и выносится решение: рекомендовать или нет диссертацию к защите на совете. Вторая стадия — защита диссертации на Ученом совете. При успешной аprobации защита на Совете, как правило, носит формальный характер и при положительных отзывах оппонентов заканчивается успешно.

Далее следует утверждение решения Совета в ВАКе, но это уже никак не прогнозируемый процесс, осуществляемый негласно канцелярией министра.

Поэтому апробация диссертации — ответственная стадия, требующая серьезной подготовки, на которую у меня времени не оставалось. Я так и попытался объяснить: «Но ведь мне нужно дней 10—8 на подготовку к такому обсуждению, нужно подготовить и необходимую экспозицию. Нельзя ли перенести заседание хотя бы на неделю?»

— Перенести заседание нельзя, уже оповещены руководители всех лабораторий. Ждем Вас завтра утром. До свидания.

Ничего не понимая, я повесил трубку. Откуда такой пожар? Уже год, как диссертация в Совете, и вдруг нет недели на нормальную подготовку к ее обсуждению! Может быть, решено таким образом попытаться вынести отрицательное суждение о диссертации и не допустить меня к защите?

Весь вечер и часть ночи готовился к завтрашнему обсуждению: подбирал материалы, от руки рисовал недостающие плакаты, приводил в систему возможные вопросы и ответы. В половине десятого утра уже был в институте.

В коридоре услышал разговор:

— Не знаете, что случилось? Почему так срочно вызывают в зал заседаний?

Мне стало ясно, что и для многих сотрудников института сегодняшнее обсуждение неожиданно.

К 10 часам я развесил плакаты и был готов к любому характеру обсуждения.

Собралось человек 30 ученых и специалистов. Были и просто любопытные. Обсуждение прошло успешно. После моего доклада и ответов на большое число вопросов последовал ряд выступлений известных ученых, положительно оценивших мою диссертацию и рекомендовавших ее к защите. Такое решение было единогласно принято. Одновременно были рекомендованы официальные оппоненты, которым следовало до защиты направить диссертацию на рецензирование.

Возвращаясь с чувством огромного облегчения, было похоже, что все стало на нормальные рельсы и теперь можно спокойно готовиться к защите, успех которой зависит только от меня.

В дальнейшем, вспоминая эту историю, я пытался и не мог найти ей объяснения, так как она вошла в нелепое противоречие со всем, что произошло потом. Один из моих друзей высказал предположение, что все явилось результатом чьего-то «высокого» звонка. Возможно, что такой звонок был неправильно понят, и так как за ним не последовало дополнительных разъяснений, то это и вызвало пере-полох.

Как бы то ни было, но дело сдвинулось с мертвой точки.

Вскоре диссертация была направлена на рецензирование к трем видным ученым, назначенным официальными оппонентами. В дальнейшем, правда, опять произошла задержка, вызванная тем, что один из оппонентов, известный ленинградский ученый, отказался от оппонирования. Он прислал очень хороший отзыв о диссертации, но при этом сообщил, что по семейным обстоятельствам он не сможет приехать в Москву и выступить на защите. По процедуре в таком случае требовалось назначение Советом нового оппонента, новое рецензирование. На все это ушло лето и осень 1972 года, и защита, наконец, была назначена на 16 марта 1973 года.

Был отпечатан и разослан специалистам для заключений краткий автореферат диссертации. Ко дню защиты все оппоненты прислали свои заключения о диссертации. Поступили также 25 отзывов на автореферат. Все заключения и отзывы были положительными, и как будто ничего не предвещало неприятностей.

Но незадолго до дня защиты вдруг стали появляться непонятные факты.

Вначале мне позвонил один из членов Ученого совета, хорошо знающий меня и высоко оценивший мою диссертацию. Он с возмущением рассказал мне, что ученый секретарь Совета уже несколько дней, встречаясь как бы случайно с членами Совета, призывает их выступить против меня на защите. А затем я узнал, что и на оппонентов оказывается давление с целью заставить их изменить свою позицию и выступить на защите против присуждения мне ученой степени. Никто из оппонентов этому давлению не поддался.

Становилось ясно, что вокруг моей защиты ведется какая-то не в мою пользу «работа», но мне оставалось только ждать.

К концу дня в понедельник 12 марта мне позвонил ученый секретарь и попросил на следующий день приехать в институт, чтобы, как он сказал, «окончательно просмотреть перед защитой мои документы, а также ознакомиться с новым конференц-залом, где будет происходить защита».

Я приехал в институт на другой день, 13 марта, еще до начала работы, но ученый секретарь уже был на месте. Разговор с ним оказался намного короче, чем я предполагал:

— Я очень рад, товарищ Горлов, что Вы сразу приехали. Дело в том, что Ваша защита 16 марта не состоится, так как нам не удастся собрать требуемый кворум в Совете на это число.

— Но при чем здесь мои документы, о которых Вы вчера вечером говорили, и зачем мне знакомиться с за-

лом? — Я еще не совсем ясно понимал, что происходит.

— Так это же было вчера, а после этого часть членов Совета заболела, а другие уезжают в командировку.

И ему, и мне было ясно, что говорит он дремучие глупости, но другого, очевидно, «они» придумать не смогли. Наличие кворума, как правило, устанавливается в день защиты, а не за три дня до нее. Забегая вперед, скажу, что действительно в день моей защиты ряд членов Совета, к своему удивлению, неожиданно были отправлены в командировку по разным городам или срочно вызваны на какие-то совещания, чем был по-настоящему создан вакuum в Совете.

Я еще спросил:

— Могу ли я встретиться с председателем Совета (он же директор института). — А. Г.)?

— Директор очень занят и сможет принять Вас только в понедельник, 19 марта, в 10 утра, — тут же сообщил мне ученый секретарь.

Мне стало ясно, что здесь все продумано в деталях и тратить время на дальнейшие разговоры бесполезно. Я поехал к себе на работу. Предупредил, кого смог, об отмене защиты. Тем не менее 16 марта многие «на защиту» приехали. В вестибюле института стояли какие-то люди, которые сначала подробно расспрашивали приехавших, кто они такие, после чего сообщали им, что защита не состоится.

19 марта утром я приехал в НИИ оснований на назначенную встречу с директором Федоровым. В приемной увидел ученого секретаря, который попросил меня подождать и сказал, что сам доложит директору о моем приезде. Через некоторое время меня пригласили в кабинет директора. Несмотря на то, что я просил о личной аудиенции, там оказалось довольно много народа: директор, его заместитель, ученый секретарь. Никакого откровенного разговора, на что я рассчитывал, быть уже не могло, и встреча, очевидно, теряла всякий смысл. Нелепой была и чересчур торжественная обстановка.

— Итак, мы Вас слушаем, — после общепринятых приветствий сказал директор.

— На 16 марта в вашем Ученом совете была назначена защита моей диссертации... — начал я, но меня неожиданно прервал ученый секретарь:

— Представляете, я с ног сбился, пытаясь собрать Совет: сейчас эпидемия гриппа, многие больны, другие в отъезде! Как работать, как работать?! — И он, перегнувшись через стол, положил передо мной какой-то листок.

Листок оказался списком членов Совета на 16 марта, где против многих фамилий стояло: «болен», «в командировке»,

«на совещании». Я успел разглядеть, что человек пять в день защиты были срочно вызваны во главе с директором на совещание в Госстрой.

Мои собеседники сидели со скорбным, сочувствующим видом — ну просто опереточная сцена! Трагикомизм ситуации еще усугублялся внешностью директора: очень маленького роста, с огромной, спадающей на грудь бородой, он еле-еле возвышался над столом (в куларах мой директор Гусаков говорил про Федорова, что у него при одном упоминании фамилии Горлова борода начинает непроизвольно трястись). На протяжении всей беседы меня не покидало ощущение, что передо мной пушкинский колдун Черномор, и я еле сдерживал улыбку, хотя мне было не до смеха.

— Ну, хорошо, мою защиту отменили. А на что же я теперь могу рассчитывать?

— Что Вы, что Вы! — сказал директор. — Ее не отменили, считайте, что произошло стихийное бедствие. Мы снова назначим Вашу защиту в самое ближайшее время. Вот пройдут уже объявленные другие защиты, и мы назначим Вашу. Это максимум месяц — полтора.

Я попытался коснуться другой стороны:

— Срыв защиты моей диссертации своей неестественностью привлек внимание общественности. Ко мне с расспросами по этому поводу приходят или звонят знакомые и незнакомые люди, и все связывают отмену защиты с моим знакомством с А. И. Солженицыным и с известным инцидентом у него на даче. Этим создается вокруг меня ореол мученичества, который мне абсолютно не нужен. Мне ясно, что если назначение новой защиты будет затягиваться, то это только усугубит нездоровы интерес ко мне и повлияет на естественность хода самой защиты (если она состоится).

— Какой Солженицын, какой инцидент?! — замахал руками директор. — Я ничего не знаю, не слышал, мне это все неинтересно! У нас не было кворума, а защиту Вашу мы назначим в ближайшее время — это все, что я могу сказать. Если у Вас больше вопросов нет, то давайте прощаться.

Судя по всему, мое высказывание повергло их почему-то в неописуемый ужас. Дальнейшее продолжение разговора стало бессмысленным, и я, попрощавшись, уехал на работу.

И, наконец, последний, заключительный штрих к описанной истории. Через 2–3 дня мои оппоненты получили почтовые денежные переводы, каждый на сумму 23 руб. 70 коп. — положенные гонорары за оппонирование. На талоне к каждому почтовому переводу было от руки написано отправителем из НИИ оснований: «За оппонирование диссертации

А. М. Горлова. Защита состоялась (!! — А. Г.) 16 марта 1973 года». И штами почтового отделения с датой отправления — 15.III.73 г.

Этот любопытный документ содержал много интересной информации. Не говоря уж о том, что таким странным способом мне стало известно о моей «составившейся защите»!

Во-первых, гонорар выплачивается согласно инструкции только после публичного выступления оппонентов на защите. Здесь же не только не было никакой защиты, но и предупрежденные заранее оппоненты в этот день даже не трятались на дорогу, а занимались своими делами.

Во-вторых, гонорар с уведомлением о составившейся защите был отправлен 15 марта (за день до назначенной даты!), хотя уже 14-го было известно, что защиты не будет!

В-третьих, удивительной была поспешность выплаты: обычно это делается через несколько месяцев после настоящей, а не «липовой», как моя, защиты. И уж никак не накануне!

Возможно, все эти нарушения порядка и логики были вызваны тем, что уже тогда было ясно, что моя защита никогда не состоится. Поэтому, наверно, устроители решили скорее поставить точку и закрыть мое дело. Но выглядело все это довольно смешно: как будто существовало опасение, что разгневанные оппоненты тотчас ринутся в НИИ оснований с протестами по поводу лишения их законного заработка, из-за моей защиты!

В дальнейшем моя диссертация «утонула» в бесконечной бюрократической переписке, организованной кем-то за кулисами.

В июле 1973 года, отправив предварительно свое письмо Л. И. Брежневу, я с семьей уехал в отпуск, а вернулся в Москву 2 августа. 6 августа в Москве в гостинице «Россия» открывался III Международный конгресс по механике грунтов, на который я имел приглашение. Поэтому я вернулся в Москву чуть раньше, чтобы подготовить выступление на секции расчета фундаментов.

На мое письмо Брежневу ответа не пришло.

Накануне открытия конгресса я имел беседу с одним из членов оргкомитета, который, в частности, рассказал, что их инструктировал специально прикомандированный «к конгрессу» сотрудник госбезопасности — «мужчина восточного типа в элегантном черном костюме при галстуке». Этот товарищ сообщил, что на конгресс прибыло большое число ученых и журналистов, и нельзя допустить, чтобы в их присутствии произошли какие-либо политические выступления советских «сионистов и диссидентов». Он также уведомил членов оргкомитета, что сам он

будет находиться в соседней комнате, а в зале будут присутствовать его помощники. Кроме того, он сказал, что в отношении некоторых подозрительных в этом смысле лиц уже приняты профилактические меры, а если у членов оргкомитета и их помощников появятся на этот счет какие-либо дополнительные данные, нужно немедленно поставить его в известность.

Моя беседа с членом оргкомитета носила непринужденный характер, мы посмеялись над некоторыми сторонами нашей жизни и нелепыми беспокойствами органов госбезопасности («нам бы их заботы», пошутил мой собеседник).

Но эту беседу я скоро вспомнил.

В день открытия конгресса я утром заехал на работу в институт, чтобы предупредить, что буду несколько дней отсутствовать, так как являюсь участником конгресса.

Неожиданно меня вызвал заместитель директора. Разговор был очень кратким.

«Товарищ Горлов, Вам необходимо срочно выехать в командировку. Все документы готовы, получите их и сегодня же выезжайте».

Повод для командировки был абсолютно нелепым: я должен был провести совещание с людьми, которые в это время, как я знал, находились в отпуске. Я об этом сказал и добавил: «Но, кроме того, я намеревался сейчас принять участие в конгрессе, который будет обсуждать принципиальные проблемы, представляющие для меня исключительный профессиональный интерес. Конгресс заканчивается через 5 дней, и я смогу тогда спокойно поехать».

«Вопрос решен, и Вы должны немедленно уехать. Возвратиться Вы должны не ранее, как через неделю», — был ответ.

Последнее замечание было весьма показательным и не оставляло уже никаких сомнений в цели командировки: меня таким методом высывают из Москвы на время работы конгресса.

(В дальнейшем этот своеобразный метод политической высылки продолжал использоваться и меня уже не удивлял. Удивляла только прямолинейность его организаторов: никто со мной о целесообразности командировок не советовался и не пытался хотя бы придать им видимость какой-то служебной необходимости. Так, например, я проездил 2 недели в конце октября по городам Горький, Свердловск, Новосибирск, пока в Москве проходил «Конгресс миролюбивых сил».)

13 августа я вернулся в Москву из командировки. Конгресс уже закончился. Я узнал, что в докладах на нем упоминались и мои работы по расчету фундаментных плит. Знавшие меня специалисты были удивлены тем, что я не был на конгрессе, но им кто-то объяснил, что я не

смог присутствовать из-за большой загруженности по работе.

Утром 16 августа мне на работу позвонили:

— Товарищ Горлов, говорит Аносов из министерства внутренних дел. Не могли бы Вы приехать в МВД на улицу Огарева в понедельник, 20 августа, в 16.00 по поводу Вашей жалобы Л. И. Брежневу?

— А я ему ни на что не жаловался.

— Но Вы же писали ему?

— Писал, но это была не жалоба, и тем более не на МВД!

— Вот по этому поводу мы и хотим поговорить.

— Хорошо, приеду.

А через час позвонил директор института и просил завтра, 17 августа, быть обязательно у него в кабинете в 14.00.

Вечером в этот день виделся с Александром Исаевичем, рассказал ему о звонке Аносова из МВД. Он очень повеселел: «Аносов? Так это мой старый знакомый! Если я имею дела с милицией, то все это обычно идет через Аносова. От него я получил и недавнее уведомление об отказе в прописке. Это, судя по всему, высокопоставленный чиновник в МВД или КГБ, кажется — полковник. Все переговоры ведет только по телефону, после чего не остается никаких следов».

На другой день ровно в 14.00 я пошел к директору. Открыв без предупреждения дверь его кабинета, я неожиданно увидел довольно много народа: кроме самого директора, там был его заместитель по научной работе, председатель месткома и два высокопоставленных чиновника из Госстроя — начальник отдела, которому подчиняется наш институт, некто Крюков, и его заместитель Некрасов. Все они что-то оживленно обсуждали, склонившись у директорского стола над какой-то бумагой. Мое появление вызвало замешательство. Директор сказал:

— Товарищ Горлов, еще рано. Будьте на месте, я Вас вызову.

Через полчаса меня вызвали к директору. Там были все те же лица, которые теперь сидели за большим столом совещаний, а на столе я увидел свое письмо Л. И. Брежневу. Мне предложили сесть, и Крюков начал разговор:

— Товарищ Горлов, для рассмотрения Вашего письма Л. И. Брежневу создана комиссия в составе присутствующих здесь товарищей. Мы не могли сделать этого раньше, так как Вы обратились прямо к Л. И. Брежневу, и письмо из его канцелярии к нам долго спускалось, — и он попытался изобразить жестом, как далеко от него до Брежнева.

Я был несколько озадачен: если эта комиссия будет разбираться с моим письмом, то что же тогда означает вчерашний звонок из МВД? Или будет какое-то разделение функций? Крюков продолжал:

— Меня вызвал к себе П. Ф. Бакума (член коллегии Госстроя, наше непосредственное высшее начальство.— А. Г.), показал мне Ваше письмо, и мы оба пришли в ужас от Вашей первой же фразы, где Вы сами признаете, что дружите с А. И. Солженицыным! Ведь это же действительно невероятно: чтобы советский человек, воспитанный нашим обществом, дружил с этим предателем!

Он обвел взглядом членов комиссии, очевидно, призывая их в свидетели чудовищного моего поступка. Те стали выскакиваться.

— Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты, — сообщил директор.

— Я своих детей пугаю этим именем, — сказал, кажется, Некрасов.

Было еще сказано что-то похожее. Я же молчал, ожидая продолжения. Крюков продолжал:

— Вы пишете, что перед Вами извинились после протesta Солженицына. Получается, что не милиция оказалась Вашим защитником, а Солженицын! Ведь так не может быть! — Тут он немножко смешался, коснувшись, как я понял, «чужой» темы, и перешел к другому вопросу:

— Теперь о Вашей защите. Я перед этой встречей беседовал с директором НИИ оснований, и он заверил меня, что в ближайшее время состоится защита Вашей диссертации. Но вот Вы утверждаете, что защиту Вам отменили в качестве дискриминационной меры. Это очень не-приятное слово — «дискриминация», оно не может применяться в нашем социалистическом обществе (в этом месте он неожиданно развелся и покраснел), давайте лучше здесь и в дальнейшем говорить о мерах предосторожности по отношению к Вам. Ведь это естественно, раз Вы дружите с таким человеком, как Солженицын!

Все согласно закивали головами, и я также сказал: «Давайте».

Судя по всему, моим собеседникам было не до юмора, и никто из них не улавливал нелепости: Солженицын — опасный человек, поэтому Горлову из предосторожности нельзя разрешить защищать диссертацию по расчету фундаментных конструкций!

И вдруг, противореча себе, Крюков сказал:

— И почему Вы вообще решили, что по отношению к Вам проводится дискриминация? Во-первых, как сообщил мне директор НИИ оснований, в назначенный день собрался Совет для слушания Вашей диссертации, но часть членов Совета отсутствовала и поэтому не было кворума. Это естественно и часто бывает. Вас не включили в Ученый совет Вашего института? Так ведь не всех же туда включают! Даже нескромно, что Вы об этом говорите. Вас не послали на конгресс в Болгарию?

Ну и что? Туда многих не послали. Меня вот — тоже! — Последняя фраза должна была означать шутку, и все присутствующие заулыбались.

— Никакой Совет на мою защиту не собирался, — сказал я, — и директор НИИ оснований ввел Вас в заблуждение. Меня за три дня до намеченной защиты предупредили об отмене ее. Что же касается Совета нашего института, то моя нескромность здесь ни при чем: я никого не просил и не прошу, чтобы меня туда включали. Я просто оцениваю сам факт: я был постоянно членом Совета много лет со дня его образования и активно участвовал в его работе, за этот период написал несколько десятков научных статей и докторскую диссертацию по профилю работ нашего института. Так как же иначе, кроме дискриминационной меры, можно назвать невключение меня в новый состав Совета? Я сочувствую Вам, — я обращался к Крючкову, — что Вы не побывали на конгрессе, но между нами есть кое-какая разница: меня, в частности, туда пригласили и приняли мой доклад, тезисы которого были опубликованы. Но начальник отдела кадров честно и откровенно мне сказал, что меня не пустят на конгресс за мои «идеологические» ошибки. Так что здесь, по-моему, все ясно.

Зачем была вся эта говорильня? Не затем же они приехали, чтобы разубеждать меня в очевидных и для меня, и для них фактах! Я ждал главного.

— Вы потеряли доверие коллектива, — сказал Крючков. — Я хочу Вам рассказать об одной очень похожей на Вашу историю, которая произошла со мной.

Я и все остальные уставились на него.

— Я на машине наехал на девушку, и меня привлекли к суду. Так вот, знаете ли, пока шел судебный процесс, целые делегации с работы этой девушки приходили и требовали моего наказания. Вот что значит, когда тебя любят и защищает коллектив!

Кто кого любит и почему эта история похожа на мою — я не понял. По-моему, неясно это было и самому Крючкову, так как он вдруг замолчал, пытаясь, очевидно, понять сказанное. Меня подмывало спросить: а что если бы на Крючкова наехал, допустим, министр КГБ Андропов? Проявил бы к самому Крючкову аналогичную любовь его коллектив?

— Мы живем во враждебном капиталистическом окружении, и любая наука в нашем обществе — партийна, — вступил в разговор директор, — даже тензорное исчисление — тоже партийно. Теперь я хочу Вас спросить вот о чем: кто помогал Вам писать Ваши научные работы, получить ученую степень?

Я насторожился и в недоумении посмотрел на окружающих: неужели меня хотят обвинить в плагиате?

— Ну, как кто? Некоторые работы я писал с соавторами, их фамилии указаны в публикациях. А докторскую — и кандидатскую, и докторскую — писал сам, ссылаясь, как это принято, на участие других в получении отдельных результатов. Писать мне никто не помогал.

— Государство Вам помогало, оно выучило Вас, создало для Вас условия, позволившие достичь научных высот, — заявил директор. — И Вы перед ним в долгу. Солженицын и зарубежное радио, используя Ваше имя, выступают против нашего общества и государства. Так вот, если Вы считаете себя патриотом нашей родины, Вы должны выступить в печати с осуждением деятельности Солженицына и решительно от него отмежеваться.

— Трибуна для этого Вам будет предоставлена, — сказал Крючков. — Это может быть, например, заявление для ТАСС или письмо в «Правду».

Вот это и было тем главным, из-за чего со мной вели столь долгую беседу. Значит, ультиматум: или я делаю для ТАСС заявление с осуждением Солженицына, и тогда я получаю и докторскую степень, и должность с высоким окладом; или — я лишаюсь возможности защитить диссертацию, и меня с «черным билетом» выгоняют с работы!

Сказано все это было столь прямолинейно, что некоторое время я не мог собраться с мыслями для ответа. Потом попытался привести какие-то логические аргументы:

— Но позвольте! Ведь мое имя упоминалось в зарубежной прессе и радио не потому, что я дружу с Солженицыным, а потому, что меня избрали на его даче. Я ни в чем здесь не был виновен. Наоборот, факт беззаконного насилия надо мной был официально признан, мне принесли извинения. Все как будто уладилось. Так почему же я должен теперь, через 2 года после этого инцидента, выступать с осуждением Солженицына? И как можно ставить в зависимость от этого выступления мою научную и служебную карьеру?

— Не спешите с решением, — сказал директор. — Подумайте, и когда решите такое заявление сделать, сообщите мне.

— Для меня это невозможно, — ответил я.

— Ну что же, тогда на себя и пеняйте, — сказал Крючков.

В понедельник, 20 августа, в 16.00, как было условлено по телефону, я приехал в Управление МВД к Аносову. У него в кабинете я увидел еще двух своих «старых» знакомых из Наро-Фоминска: подполковника Баранникова (при нашей первой встрече 2 года назад он был майором) и тогдашнего своего собеседника, в штатском, назвавшего себя заместителем начальника Наро-Фоминской мили-

ции. Эти двое сидели в стороне, и я их не сразу заметил. Я прошел к столу, за которым сидел высокий, широкоплечий и очень представительный мужчина в штатском — сам Аносов. Он поднялся мне навстречу, пожал руку и предложил сесть.

Произошедший затем разговор был краток по форме и анекdotичен по содержанию.

— Итак, товарищ Горлов, какие претензии у Вас к милиции?

— У меня к милиции? Никаких. А почему они должны у меня быть?

— Но ведь Вы же жаловались на нас товарищу Брежневу. Вот я даже пригласил сюда работников милиции из Наро-Фоминска, которые имели с Вами дело. — Тут я только заметил их и мы поздоровались.

Аносов достал и положил на стол папку, на обложке которой я увидел надпись: «Горлов А. М.».

— Это недоразумение. На милицию я не жаловался, а просто упомянул имевший место инцидент. Но тогда передо мной извинились, и мы больше не встречались. Поэтому, естественно, и претензий к Вам у меня нет.

— Ну, что же. Это и нужно было нам установить. Тогда все, — сказал Аносов, — и мы все стали прощаться.

Когда я уже был у дверей, «штатский» из Наро-Фоминска вдруг сказал:

— Поздравляю Вас с успешной защитой кандидатской диссертации.

Я в недоумении посмотрел на него:

— Кандидатскую я защитил 10 лет тому назад.

— Да? А я не знал.

Произошла небольшая заминка: я еще раз попрощался и вышел.

Очевидно, был подготовлен какой-то сценарий встречи, по которому мой наропоминский знакомый должен был сказать это поздравление. И вот, хотя разговор не получился, он как исполнительный служащий, возможно, решил поручение все же выполнить.

О приезде комиссии и разговоре в МВД я через некоторое время рассказал Александру Исаевичу и Екатерине Фердинандовне.

23 августа, давая в Москве интервью зарубежным журналистам, Александр Исаевич сказал обо мне: «Александр Горлов, в 1971 году не поддавшийся требованиям КГБ скрыть налет на мой садовый дом, с тех пор третий год лишен возможности защитить уже тогда представленную докторскую диссертацию, как и угрожали ему: диссертация собрала 25 положительных отзывов, включая всех официальных оппонентов, и ни одного отрицательного, научно провалить ее невозможно, но все равно защита (по механике фундаментов) не пройдет, поскольку Гор-

лову выражается „политическое недоверие“. Приняты подготовительные меры к увольнению Горлова с работы».

За несколько дней до этого с известным интервью о демократических свободах и диссидентах в нашей стране выступил академик А. Сахаров. В связи с этим по предприятиям Москвы проходили митинги, на которых осуждался А. Сахаров как пособник международной реакции. После выступления Александра Исаевича его добавили к Сахарову и осуждали теперь обоих.

Такой митинг был организован и у нас в институте в начале сентября 1973 года. Я в это время болел и на работе не был.

Тем не менее утром в день митинга мне домой позвонил штаборг института и сказал:

— Товарищ Горлов, сегодня состоится митинг сотрудников института, посвященный осуждению (! — А. Г.) Сахарова и Солженицына. Мы приглашаем персонально Вас и Турчина¹ присутствовать на митинге.

— Я болен и прийти не могу. Мне, правда, неясно, зачем нужно собирать людей на митинг, если Вы и так уже знаете, что Сахаров и Солженицын будут на нем осуждены?

— Ну, что же, раз Вы больны, тогда ничего не поделаешь. Но я Вас предупредил. До свидания.

Судя по всему, мою фразу он не понял.

Вечером ко мне приезжал один из моих сослуживцев и рассказал, как проходил митинг. Докладчик от штаборга «克莱мил позором отщепенцев» Сахарова и Солженицына, а также их пособников в стенах нашего института — Турчина и Горлова. Потом выступил Турчин, который в спокойной, сдержанной манере объяснил свою позицию. А затем был ряд выступлений, в которых ораторы призывают осудить диссидентов, вспоминая при этом погибших в войне отцов, трагедию Хиросимы, сирот Вьетнама, израильских агрессоров и так далее. Единогласно (за исключением одного — Турчина) была принята резолюция, осуждающая Сахарова и Солженицына.

Вскоре после этого на заседании штаборга было принято решение, рекомендовавшее дирекции освободить меня и Турчина от работы, связанной с воспитанием людей (то есть от руководства коллективом). В соответствии с этим Турчин вскоре перевели на низшую должность уменьшив ему на сто рублей зарплату. Меня лишили руководства рядом работ, оставил только выполняемую непосред-

¹ В. Ф. Турчин — сотрудник нашего института, доктор физико-математических наук, недолго перед этим выступил с открытым письмом в защиту А. Д. Сахарова (ныне В. Ф. Турчин — председатель отделения «Amnesty International» в СССР).

ственno мною тему. Всем моим помощникам приказано было мне больше не подчиняться и ни с какими вопросами ко мне не обращаться.

Когда я вышел после болезни на работу, меня вскоре вызвал к себе директор.

— Вы еще не надумали выступить для ТАСС по поводу Солженицына? Ведь у Вас нет другого выхода: в нашей стране 250 миллионов человек едини в своем мнении и всего лишь двое занимают другую позицию.

— Почему Вы думаете, что только двое? — спросил я.

Он удивленно посмотрел на меня, немного подумал и сказал: «Ну, четыре! Это неважно». Очевидно, к Сахарову и Солженицыну он добавил меня и Турчина, о других не слышал.

— Так вот, для Вас еще не все потеряно. Если Вы сделаете требуемое заявление, то мы будем считать, что до сих пор Вы просто неудачно шутили, и выдадим Вам хорошую характеристику для защиты диссертации¹.

Меня разбирало любопытство: где кончается его личная инициатива и начинается давление «сверху»? Я спросил:

— Почему Вы так на этом настаиваете? Меня уже общественность осудила. Вы наказали.

— Наказать-то наказали, но ведь не исправили! Сейчас от меня мало что зависит: мы обязаны (он сделал здесь ударение) Вас перевоспитать. Если бы Вы осудили Солженицына, то это и было бы результатом нашей идеологической работы, о нем бы мы где надо доложили. А так что же?

Да-а! Видно, «где надо» за него круто взялись, и уж очень ему хочется отличиться!

— Я не смогу сделать такое заявление. Лучше к этому больше не возвращаться.

На том разговор и закончился.

Я подумал, что, может быть, действительно имеет смысл перейти на другую работу: в моем институте становилось уже совершенно невыносимо. Я считал, что в кругу специалистов моей области знаний у меня достаточно, и найти работу по душе мне будет несложно.

Действительно, когда через несколько дней я по этому поводу побывал в двух крупных институтах, то встретил там самое доброжелательное отношение. В одном из них я сдал заявление о приеме на работу, все необходимые документы, и меня заверили, что в ближайшее время все будет оформлено.

Прошла неделя, другая, третья... Люди, приглашавшие меня на работу, при моих

звонках нервничали, просили еще «чуть-чуть подождать». Тогда я подал, на всякий случай, заявление и в другой институт.

А в это время в Москве собрался Международный конгресс миролюбивых сил и, как я уже писал, меня на две недели отправили в командировку за Урал.

Вернувшись, я узнал, что в обоих институтах дело о моей работе не сдвинулось с места. В конфиденциальных встречах мне сообщили, что моя фамилия приводит в ужас отделы кадров и директоров, а поэтому дело мое в этом смысле — безнадежное. Друзья мне посоветовали «сидеть и не рыпаться».

Я так все и доложил директору при первой же встрече и опять попросил характеристику для защиты диссертации.

— Вы все равно не сможете защищать диссертацию! Деловые качества у Вас высокие, не спорим, а идеологические — низкие. Значит, ученым Вы быть не можете, и это будет записано в характеристике.

— Хорошо, дайте, какую считаете нужной, — сказал я.

Но проходили дни, а характеристика так и не появлялась, хотя я через секретаря передал директору письменную просьбу о выдаче характеристики.

И только после моего письма председателю ВАК Елютину я получил 15 января следующий уникальный в своем роде документ:

ХАРАКТЕРИСТИКА
на главного специалиста ГОРЛОВА А. М.

А. М. Горлов, 1931 года рождения, беспартийный, образование высшее, кандидат технических наук, работает в институте ЦНИПИАСС с 1961 года (рук. группы, главный инженер проекта, с 1967 года — главный специалист отдела).

А. М. Горлов является квалифицированным специалистом по применению математических методов и вычислительной техники в строительном проектировании. Он участвовал в постановке задач комплексной автоматизации проектирования конструкций, в проведении работ по созданию серии программ расчета и конструирования на ЭВМ массовых железобетонных конструкций.

В соавторстве с другими специалистами А. М. Горловым разработаны комплексные программы расчета железобетонных конструкций, которые широко используются проектными организациями. С их помощью, например, выполнен ряд работ по оптимальному проектированию типовых железобетонных конструкций, запроектированы фундаменты под корпуса автозавода в г. Тольятти и др.

А. М. Горлов — автор более 50 научных работ, опубликованных в периодической печати, и монографий (в соавторстве с Р. В. Серебряным), в которых решен ряд

¹ В это время из НИИ оснований стали снова требовать на меня новую характеристику перед защитой взамен, как мне сказали, «устаревшей» прежней.

новых и актуальных задач строительной механики. За работы по автоматизации строительного проектирования он награжден в 1965 году «Золотой», а в 1968 и 1969 гг. — «Бронзовыми» медалями ВДНХ.

А. М. Горлов поддерживает дружеские связи с литератором Солженицыным и его семьей. В связи с чем его имя в 1971 году неоднократно использовалось буржуазной прессой и радио в целях антисоветской пропаганды. Руководство, партбюро и местный комитет беседовали с Горловым А. М., предлагали ему выступить в советской печати с официальными заявлениями о несогласии использования его имени в этих целях. Однако Горлов А. М. этого не сделал. Более того, в 1973 году его имя вновь было использовано буржуазной прессой. В связи с низким уровнем морально-политических качеств Горлов А. М. отстранен от руководства коллективом.

Характеристика дана для предоставления в Ученый совет НИИ оснований и подземных сооружений в связи с представлением в защите докторской диссертации.

Директор ЦНИПИАСС

А. А. Гусаков

Секретарь партбюро

В. Я. Слепухин

Председатель месткома

К. М. Панфилова

29 декабря 1973 г.

Я читал этот невероятный документ и диву давался цинизму его составителей.

Стремясь, очевидно, придать документу видимость объективности, авторы характеристики оставили в первой ее части положительную оценку моих производственных и научных качеств, взятую из других моих характеристик прошлых лет (когда меня еще не побили и я был «хорошим»). Но положительная оценка моей научной деятельности не имела абсолютно никакого значения для защиты диссертации и полностью перечеркивалась последней частью характеристики, которая была аккуратно, слово в слово подогнана под формулировку инструкции ВАК: «...в связи с низким уровнем морально-политических качеств...»

А уровень этот, оказывается, определен был тем, что мое имя упоминалось в сообщениях зарубежного радио. Тот факт, что сообщали-то не обо мне, а об официальных представителях власти, избивших меня на даче А. И. Солженицына, пропал, исчез, утонул! И то, что я из жертвы таким ловким образом был переименован в «преступника» — авторами характеристики, — очевидно, оценивалось как вполне естественное дело!

Я все же написал в Совет НИИ оснований и Госстрой СССР свое мнение о ха-

рактеристике, хотя и считал, что теперь уже это — «мертвому припарки». К этому моменту достигла апогея официальная кампания на службе, направленная на изгнание меня с работы.

Без шансов на успех я написал протест в райком партии.

Через полтора месяца это мое заявление было использовано самым неожиданным образом. Но в данный момент, как я ожидал, никакой реакции не последовало, и мне преспокойно «влепили» административное взыскание, о котором широко оповестили весь институт.

Одновременно велось развернутое психологическое давление на всех, кто со мной был вынужден общаться по работе.

Для начала объявили партийный выговор начальнику и парторгу моего отдела за «недостаточную политко-воспитательную работу» (имеется в виду — со мной). И хотя они на партийном собрании института заявили, что делали все, что надо: меня от людей изолировали, непрерывно вели со мной воспитательные беседы, призывали осудить Солженицына и так далее, — им объяснили, что работу оценивают по результатам, которых так и нет. И то, что «Горлов трудновоспитуем», — это не оправдание.

Затем была предпринята акция и по отношению ко всему отделу. По результатам работы в 1973 году наш отдел занял первое место в институте, и всем сотрудникам его полагалась за это денежная премия. Но на специальном заседании местного комитета совместно с дирекцией института было принято решение лишить отдел первого места и денежной премии, так как коллектив отдела не в состоянии заставить Горлова «перевоспитаться».

Этой мерой 40 человек отдела, по существу, были объявлены заложниками, которые впредь будут нести на себе «грехи» Горлова. А чтобы этого не было, на том же заседании директор и парторг института предложили провести собрание отдела, на котором все мои сослуживцы, лишенные из-за меня премии, выступили бы с резким осуждением меня и с требованием к администрации «убрать Горлова из коллектива».

Дальнейшие дни (это было уже в феврале 1974 года) проходили в подготовке этого собрания: создавалась соответствующая такому событию неврастеническая атмосфера, подбирались и инструктировались ораторы, которые должны были «стихийно» выступить на собрании. Но тут произошел неожиданный сбой: выяснилось, что мои сослуживцы согласны меня «осудить», но требовать моего изгнания — наотрез отказались. Собрание из-за «неподготовленности» несколько раз откладывалось, а в это время произошли главные события — арест и высылка А. И. Солженицына.

Сообщение ТАСС

Указом Президиума Верховного Совета СССР за систематическое совершение действий, не совместимых с принадлежностью к гражданству СССР и наносящих ущерб Союзу Советских Социалистических Республик, лишен гражданства СССР и 13 февраля 1974 года выдворен за пределы Советского Союза Солженицын А. И.

Семья Солженицына сможет выехать к нему, как только сочтет необходимым.

На другой день на работе я узнал, что директор заявил: «Нам тоже нечего тянуть».

В понедельник 25 февраля, поправившись, я вышел на работу, и на 27-е, на конец дня, было назначено собрание отдела. Весь день 27 февраля шла подготовка к собранию: вывесили объявление, предупредили сотрудников, договорились, что проходит оно будет в закрытом помещении технической библиотеки и без посторонних.

Но за полчаса до собрания вдруг объявили, что оно переносится. На какой день — неизвестно. Одновременно я узнал, что директор с парторгом уехали в райком партии. Что случилось, никто не знал.

28 февраля, утром ко мне пришел парторг института и сказал, что меня через час вызывают в райком партии в связи с моей жалобой на «административную» травлю.

— Так ведь я писал жалобу полтора месяца назад, и дело «успешно» закончилось объявлением мне взыскания.

— Неважно. Раз вызывают — надо ехать. Я тоже поеду.

Когда мы с парторгом приехали в райком, то застали там уже ожидающего нас директора и инструктора райкома по идеологической работе. Мы все вместе проходили приема еще минут 40, а затем нас пригласили в кабинет. Я еще подумал: «Неужели такую многочисленную и солидную компанию собрали из-за моей давней жалобы?» Даже стало немного неловко из-за такого «внимания».

В большом кабинете сидел очень представительный мужчина лет сорока пяти (я потом узнал, что это 2-й секретарь — Полунин; через полгода он сменил Чаплина и стал 1-м секретарем РК), который после того, как мы все расселись, начал разговор:

— Так вот, товарищ Горлов, мы решили разобраться с Вашей жалобой и выяснить, действительно ли имеет место какое-либо административное преследование Вас или Вам это только кажется. Начнем по порядку.

Последовал длинный и путанный разговор. Объяснялся директор, парторг, я,

что-то вставлял инструктор. Я видел, что хозяину кабинета детали дела непонятны да и не нужны, что он стремится закончить разговор и перейти к чему-то главному. Но к чему? В какой-то момент зазвонил телефон и беседовавший с нами взял трубку:

— Да. Я сейчас этим занимаюсь. — Потом, обратившись к нам:

— Товарищи, выйдите, пожалуйста, из кабинета и подождите в приемной.

— Мы тоже? — спросил директор.

— Да, да, все.

И мы в полном составе снова оказались за дверью. Пикантная ситуация! Для директора с парторгом, естественно. Мне же хотелось рассмеяться.

Минут через 10 нас опять пригласили, и хозяин кабинета подвел такой неожиданный итог:

— Итак, товарищ Горлов, у директора были основания для недовольства Вами (еще бы! — А. Г.). Но тем не менее, — он обращался теперь к директору, — товарищу Горлову как квалифицированному специалисту должны быть в дальнейшем созданы нормальные условия для спокойной и плодотворной работы на пользу общего дела. На этом давайте закроем этот вопрос.

Вот так поворот! Но, судя по всему, мои начальники к этому уже были готовы и стали невозмутимо прощаться.

На улице директор меня спросил, не подвезу ли я его к институту: свою машину он куда-то отослал. Я согласился, но не удержался, чтобы не съязвить:

— А как же Ваше реноме? Ведь что подумают наши сослуживцы, когда Вы в моей машине подъедете к институту?

Он трагически махнул рукой: дескать, его репутация уже так плоха, что хуже не станет!

А еще через два дня директор пригласил меня к себе в кабинет:

— Товарищ Горлов, я нашел для Вас прекрасную работу в другом институте. Я уже договорился, что если Вы согласитесь, то мы Вас переведем туда на должность руководителя лаборатории с сохранением Вашей зарплаты. Этим будет закрыто Ваше «дело», так как все, что было в нашем институте, постепенно забудется, и через некоторое время Вы сможете защищать свою диссертацию.

— Как же я смогу выйти на защиту с той характеристикой, которую Вы мне дали?

— Характеристику мы отзовем и исправим. Придумаем такую форму, которая не противоречила бы инструкции ВАК, и все будет в порядке!

— А почему Вы так хотите, чтобы я ушел? Вы сами считаете меня высококвалифицированным специалистом, способным хорошо и продуктивно работать. Ведь с моим уходом институт будет

вынужден прекратить работы по ряду важных направлений, руководителем которых я являюсь!

— Конечно, Ваши знания, способности, опыт нам нужны. Но еще более нам нужна партийная идеология! Это — главное в работе института. В первую очередь наши сотрудники должны отвечать высоким партийным, идеологическим требованиям, а во вторую — деловым.

— Но ведь наш институт работает в инженерной, технической сфере, а не в идеологической!

— Это неважно. В наше время любая наука партийна. Даже тензорное исчисление.

— Вы это уже мне как-то говорили.

— Это не я говорил. Это говорил Ленин!

— Насчет тензорного исчисления?

— Нет, насчет партийности в науке. Я понимаю, что Вы можете сказать, что никогда не выступали с антипартийными заявлениями. Но в сложившейся ситуации Ваше молчание все эти годы и нежелание выступить против Солженицына были сильнее всяких заявлений и демонстраций. И Вы это прекрасно понимаете. Но мы отвлеклись. Так как же с переходом на другую работу?

— Я должен сам съездить в тот институт и узнать на месте, что мне предлагаются.

— Хорошо. Когда что-нибудь решите, зайдите ко мне сообщить. Да, и еще: заберите пока в отделе кадров свою характеристику, поданную на конкурс. Ее все равно надо будет исправить, если Вы останетесь у нас.

Судя по всему, желание каким-либо образом избавиться от меня было у директора не просто навязчивой идеей, но и следствием разноречивости инструкций, поступающих к нему по разным каналам. Выгнать меня с работы ему, очевидно, в данный момент не было разрешено, иначе он это с удовольствием бы сделал. Но и оставить меня в покое он, наверное, тоже не решался, поскольку прямых указаний на этот счет не имел. Вот он и пытался найти третий выход.

А 11 марта снова появилось объявление о собрании отдела, на котором должен был обсуждаться факт лишения отдела из-за меня первого места и премии.

Собрание проходило при закрытых дверях, и на него из посторонних пришли только посторонний института, председатель месткома и зам. директора. При полном молчании было произнесено несколько подготовленных заранее стандартных речей, в которых говорилось о том, как хорошо работает отдел и как плохо, что из-за одного Горлова страдает весь коллектив. В принятой резолюции меня призывали отмежеваться от Солженицына и выступить против «использования моего

имени в антисоветской пропаганде». «Административных» призывов к дирекции (убрать из отдела, снять с работы и так далее) не было.

На другой день, 12 марта, состоялось давно объявленное и несколько раз переносившееся заседание Ученого совета по проведению конкурса на замещение должности старшего научного сотрудника. В этом конкурсе меня вынудили участвовать, хотя эта новая должность была рангом ниже той, которую я занимал все последние годы. Мою отрицательную характеристику перед конкурсом так и не изменили.

Было объявлено 3 вакансии, на которые претендовали 4 человека. По каждой из кандидатур должно было состояться голосование: претендент, набравший наибольшее число голосов (но не менее половины состава Совета), считался избранным на должность.

Перед началом заседания было оглашено решение специальной конкурсной комиссии, которая не рекомендовала избирать меня. С объяснениями по этому поводу выступил зам. директора Мастаченко, повторивший избитый аргумент: мне не может быть предоставлена эта должность из-за моей дружбы с Солженицыным! Кто-то из присутствующих, правда, напомнил, что ведь новая должность и по квалификации работы, и по зарплате значительно ниже той, которую Горлов выполняет в данный момент, а потому перевод его на новую должность тоже может рассматриваться как наказание. На это было сказано, что «морально-политический» уровень Горлова «так низок», что предоставить ему работу научного сотрудника все равно невозможно.

Как и следовало ожидать, конкурс я не прошел и в соответствии с изданным ранее приказом (с которым, кстати, меня не ознакомили) должен был быть уволен с работы.

13 марта я получил уведомление об отказе в приеме на работу из института, куда я подавал заявление по рекомендации нашего директора.

Итак, круг, кажется, замыкался.

В свете последних событий так и осталось неясным, что же означал этот вызов в райком партии, где меня заверили, что я могу «спокойно работать».

Я уже говорил, что, несмотря на внешнюю обыденность моей жизни после происшествия на даче Александра Исаевича, вокруг меня проходили скрытые события, так или иначе периодически проявлявшиеся.

В первую очередь, это относится к установленному за мной негласному наблюдению, которое иногда обнаруживалось при самых неожиданных обстоятельствах.

Здесь я хочу рассказать об одном таком случае.

Я с семьей занимал квартиру на втором этаже большого дома на Ленинском проспекте. Нашиими соседями по лестничной клетке была рабочая семья, жившая в двухкомнатной квартире. Семья эта была довольно многочисленной: пожилая вдова, трое ее взрослых детей — сын и две дочери, невестка и два зятя, трое внуков, находящихся на попечении бабушки. Они ожидали получения еще одной квартиры для старшей дочери и ее семьи, а пока жили в страшной тесноте. Их квартира примыкала вплотную к нашей: мы часто хорошо слышали и плач детей, и скоры, и просто громкий разговор у соседей. Правда, это не отражалось на наших добрососедских отношениях: мы всегда приветливо здоровались, а иногда заходили друг к другу.

Однажды, было это весной 1972 года, я встретил у них коренастого мужчину средних лет: «Свояк, приехал к нам погостить из деревни и поискать работу в Москве», — объяснил мне сын вдовы. «Свояк» поздоровался и представился (имени я не запомнил). Проходила неделя за неделей, а «свояк» все гостили у них, теснясь со всеми в одной квартире.

Как-то я пришел домой очень поздно, за полночь. Открывая ключом дверь в свою квартиру, вдруг услышал, как кто-то произнес мою фамилию. На лестнице никого не было, а из-под двери соседей пробивался свет: там шла негромкая застольная беседа. Я услышал голос вдовы:

— Так вот и мотаешься с места на место на своей работе?

И ответ «свояка» (судя по голосу сильно выпившего);

— Что поделаешь — служба. В войну я был на фронте, но после той истории (он, очевидно, о чем-то перед этим рассказывал. — А. Г.) думал, что меня расстреляют. Потом меня привезли в Москву и здесь сказали, что я прощен, но с этого времени должен буду работать в разведке. Вот и служу.

Вот так «свояк из деревни»! Больше я уже не стал слушать: было ясно, что перед этим разговор шел обо мне. Значит, все время «свояк» мог не только наблюдать за мной, но и прослушивать все разговоры в нашей квартире!

С этой квартиры мы вскоре переехали. Перед отъездом узнали, что соседям (молодым) дали, наконец, еще одну квартиру, так что им стало посвободнее.

По логике вещей должно было быть постоянным и наблюдение за мной на работе. У меня и у моих друзей было твердое убеждение, что это выполняется двумя хорошо известными нам сослуживцами в отделе. На это указывал ряд очевидных признаков: стоило ко мне прийти кому-либо из посторонних или

собраться у моего стола друзьям, как обязательно один из двоих оказывался по какому-либо поводу рядом. Кроме того, время от времени появлялись и незнакомые лица, которые, как я замечал, внимательно за мной следили.

Были явления и совсем другого плана, исходившие, судя по всему, из того же ведомства. Одно из таких событий произошло дней через пять-шесть после «дачного сражения».

Ко мне на работу к концу дня явился худощавый молодой человек. Он подошел к моему столу и, оглянувшись, попросил разрешения недолго со мной поговорить. В руках он держал небольшой сверток и летний плащ. Рабочий день кончился, и мои сослуживцы уже расходились. Ничего не подозревая, я предложил ему сесть и, предупредив, что тороплюсь, попросил изложить суть дела по возможности кратко.

— У меня к Вам неслужебный разговор. Я пришел к Вам, как к другу Солженицына, с одной просьбой: помочь мне связаться с академиком Сахаровым.

Я уставился на него, не находя, что ответить. А он продолжал:

— Я приехал из Ленинграда по поручению рабочих Кировского завода, где я работаю инженером по технике безопасности. Возможно, Вы слышали, что у нас был ряд выступлений рабочих из-за тяжелых условий труда и отсутствия демократических свобод (я впервые об этом слышал. — А. Г.). Понимая, что отдельными протестами ничего не добьешься, некоторые из нас решили объединиться для систематических координированных действий. Мы организовались в общество, легальной программой которого является повышение культуры и улучшение быта рабочих. У нас есть членские билеты, на которых мы ставим вот такой штампик (он достал и продемонстрировал мне свой билет), свидетельствующий о принадлежности к нашей организации. Мы собираем членские взносы и располагаем определенными средствами, которые можем расходовать на поддержку других демократически настроенных людей, борющихся за наше общее дело. Ну, а что является нашей целью, Вы, очевидно, догадываетесь, — это он сказал, приглушив голос, хотя рядом никого не было.

Я смотрел на него и думал: кто передо мной — сумасшедший или провокатор? Вспомнил «Союз меча и орала» у Ильфа и Петрова и непроизвольно улыбнулся.

— Вы напрасно иронизируете, — сказал он. — И заблуждаешься, если думаете, что действиями одиночек, вроде Ваших на даче у Солженицына, Вы чего-то добьетесь.

— А я там и не пытался чего-то добиваться: просто мне «превосходящие силы противника» набили физиономию! Толь-

ко и всего. Единственno, к чему я тогда стремился, так это чтоб остаться, во-первых, живым, а уж потом — человеком.

— Знаете ли, Ваш случай еще раз показал, что «там» (он поднял пальц вверх) полно неумеющих работать дураков.

Я не спорил, слушал, что будет дальше. Он продолжал приблизительно следующее:

— Если бы я «там» работал, то уж, будьте спокойны, я бы знал, как действовать. Еще Ленин говорил, что если давить на отдельные точки (он показал ногтем на столе, как надо давить), то это приведет только к перетеканию сил из одного места в другое.

Я не знал, когда и где Ленин говорил об этом, но решил кончать разговор.

— Так что же Вы от меня хотите?

— Мне необходимо связаться с Комитетом защиты гражданских прав. Познакомьте меня с Сахаровым.

— Не могу это сделать, так как сам с ним не знаком.

— А как же мне его разыскать?

— Не знаю.

Он доверительно придвинулся ко мне:

— Меня знает Твардовский и даже подарил мне свою книгу.

Он раскрыл журнал «Новый мир» и показал мне дарственную надпись. Я разобрал подпись Твардовского, но кому это было адресовано — не разобрал.

— Так вот и обратитесь к Твардовскому. Он наверняка знает Сахарова.

— А где живет Твардовский?

— Не знаю.

Я встал, давая понять, что мне надо уходить.

— Ладно, найду через справочное бюро. Сейчас я кончуя. У меня все же к Вам просьба: если узнаете адрес Сахарова, то напишите, пожалуйста, на Главпочтамт до востребования на имя моей матери. Она живет в Москве и мне сообщит, я же сегодня уезжаю.

Пытаясь закончить разговор, я согласился. Он сказал мне имя и фамилию матери и наконец ушел.

Я решил не ломать себе голову над этим странным посещением и постараться о нем забыть. Но не тут-то было!

На другой день в конце работы, не дожидаясь моего письма «до востребования», ко мне пришла сама «мама» вчерашнего посетителя. Это была довольно интересная, подтянутая и живая женщина лет 45. Она подошла к моему столу, достала из сумочки точь-в-точку такую же «членскую книжку», как у моего вчерашнего посетителя, и, ничего не говоря, показала мне ее. Я увидел там сообщенные мне имя и фамилию и тот же штампик «сообщества». Если вчера могли еще оставаться какие-то сомнения о характере их организаций, то теперь они исчезли.

— Вам понятно, кто я? — спросила она, пряча свою книжку.

Я ответил, не вдаваясь в подробности.

— О, конечно! Мне было очень любопытно познакомиться с Вашим сыном.

— Я понимаю, что Вы можете с опаской относиться к нашему посещению. Но, может быть, Ваши опасения развеет вот это, — и она положила на стол фотографию.

Это был любительский снимок праздничной демонстрации. На переднем плане под большим транспарантом «Кировский завод» стоял мой вчерашний посетитель с двумя какими-то мужчинами. Бросалась в глаза неестественность поз снимавшихся: стояли они вплотную друг к другу, сурово, без тени праздничного настроения глядя в объектив аппарата. Были видны явные следы ретуши на надписи.

Я вежливо вернулся фотографию хозяйке, и она продолжала разговор:

— Почему Вы направили моего сына к Твардовскому? Ведь он тяжело болен и уже год не поднимается с постели.

— Я не направлял его к Твардовскому. Он сам выразил это желание, чтобы узнати адрес Сахарова.

— А почему Вы не захотели познакомить моего сына с Сахаровым? Он нам очень нужен! Если Вы друг Солженицына, то и Сахарова должны знать. Ведь они — политические единомышленники.

— Представьте себе, не знаю. И мои дружеские отношения с Солженицыным основаны на личных, общечеловеческих интересах и никак не связаны с его литературно-общественной деятельностью.

— Но как же нам найти Сахарова? Как он хотя бы выглядит?

— Никогда его не видел.

— Он старый?

— Нет, мне известно, что он рано стал академиком. Сейчас ему лет пятьдесят. Посмотрите в Большой Советской Энциклопедии, там, наверное, о нем сказано.

— Значит, не хотите нам помочь?

— Я искренне Вам сочувствую, но ничего не могу сделать. А теперь давайте прощаться: рабочий день закончился и я спешу.

Я встал и взял свой портфель.

— Простите, еще одно, последнее дело. Мы собрали значительные деньги для Солженицына и комитета Сахарова. Я прошу Вас взять их для передачи, — она поставила на стол хозяйственную сумку.

Вот так ситуация! Взять, что ли, деньги и вызвать милицию? В это время ко мне подошел один из сослуживцев, ждавший меня, чтобы ехать домой вместе. Я сказал:

— Деньги я передавать не стану. Отправьте их по почте, указав только фамилию получателя. Думаю, что они дойдут. До свидания! — и я направился к выходу.

Больше я никогда не встречался с «представителем рабочих» Кировского завода и его «мамой».

Часть III

КАК УВОЛИТЬ НЕУГОДНОГО...

В ночь с 28 на 29 марта 1974 года, в пятницу, уезжала из Москвы в Швейцарию семья Александра Исаевича: жена — Наталья Солженицына, трое его сыновей — Ермолай, Игнат и Степан (все почти погодки: старшему, Ермолаю, около 4-х лет), двенадцатилетний сын Натальи от первого брака Митя и ее мать — Е. Ф. Светлова, мой старый долголетний друг, о которой я много упоминал в предыдущих частях.

Все дни, прошедшие с момента высылки Александра Исаевича для его семьи были наполнены трудными, напряженными сборами в дорогу. День отъезда назначался несколько раз и все время откладывался по разным причинам. Сначала Наташа подвернула ногу и не могла ходить. Когда Екатерина Фердинандовна привезла ее в травматологическое отделение больницы, на слух о приезде жены Солженицына сбежался почти весь медицинский персонал отделения. Ее ногу в течение часа многократно осматривали, забинтовывали и разбинтовывали, так как подходили «посмотреть травму» новые врачи, дважды делали снимок, наконец, отпустили, сказав, что «ничего страшного: растяжение связок». Потом тяжело, воспалением легких, заболел Степан. И на все это накладывались формальные сложности, связанные с неясностью позиции властей в отношении главного: что и на каких условиях разрешать вывозить из материалов личного архива Александра Исаевича.

Постепенно все уладилось и был, наконец, назначен день отъезда: 29 марта, самолетом швейцарской авиакомпании из аэропорта Шереметьево. Незадолго до этого Наташа и Екатерина Фердинандовна получили советские заграничные паспорта, в которых за ними сохранялось гражданство СССР еще на два года — до марта 1976 года.

27 марта, за два дня до отъезда, они открыли свой дом для официальных проводов и прощания с друзьями.

Я приехал к ним вечером, после работы, когда их довольно большая квартира на улице Горького была до предела заполнена людьми. Здесь было много знакомых, но большинства я не знал. Не было ни общего стола, ни официальных речей.

Мне трудно передать царившую в доме атмосферу, очевидно, все воспринималось очень субъективно. Думаю, что в основном преобладало какое-то грустно-торжественное, приподнятое настроение. Все

присутствовавшие в зависимости от степени знакомства между собой разделились на группы. Говорили об Александре Исаевиче, рассматривали многочисленные фотографии его с женой, детьми. По рукам ходило письмо Наташи:

«Александр Исаевич Солженицын выслан из страны. Выслан силой, бессудно, вероломно. Русский писатель, главной болью которого была и будет судьба России — обречен жить в изгнании.

Многие годы стремились оборвать его связь с соотечественниками. Но газетная брань, закулисная клевета и грязные анонимные угрозы бессильны были исказить и приглушить его голос, всегда обращенный к этой земле, к ее народу. Наконец, поняли, что Солженицын добровольно никогда не оставит России. Тогда решились: арест, конвой, принудительный увоз.

Можно разлучить русского писателя с родной землей, но пресечь его духовную связь с ней, но отнять у России Солженицына — такой власти и силы нет ни у кого. И пусть сейчас здесь запалили костры из его книг, их жизнь на родине неистребима, как неистребима любовь Солженицына к России.

Мое место — рядом с ним. Но уезжать мучительно больно.

Больно расставаться с Россией.

Больно, что на жизнь без Родины обречены наши дети.

Больно и трудно оставлять друзей, не защищенных мировой известностью от истинной власти.

Вынести эту боль дает только вера — мы вернемся. Не знаю, когда и как, но верю твердо. Верю потому, что на моих глазах к России, казалось, уже погребенной и забывшей себя, начали возвращаться живое дыхание и память.

Еще недавно преследуемого человека окружало поле страха и неприязни. И вот вновь пробивается и крепнет подлинно русское чувство — сострадание, не к единомышленнику только, а просто к гонимому, травимому, неправедно осужденному. И часто не обеспеченные, а те, кто сами едва сводят концы с концами, отрывая от себя и своих детей, помогают детям политзаключенным или терпящих за веру.

На наших глазах совершается чудо: поруганная, оплеванная, затоптанная вера не умерла в России, но с каждым днем неодолимей влечет к себе все новые и новые души. Люди ждут и ждут истины. Молодые по крупицам собирают драгоценное духовное наследие, приговоренное к забвению. Для новых поколений исторический опыт не прошел даром.

И в этом чуде — наше будущее, в нем — основание надежды.

Не мне судить о сроках, но мы вернемся. И детей наших вырастим русскими.

И потому — мы не прощаемся ни с кем.

27 марта 1974 года

Наталья Солженицына».

А новые люди все приходили и приходили. Кто-то предложил вести счет посетителям и потому вручить «приз» — стакан водки. Но сотовой, кажется, оказалась жена генерала Григоренко, и приз не был должным образом оценен. Сто двадцати-ми оказались А. Д. Сахаров с женой.

Я ушел около полуночи. Последние гости расходились в третьем часу ночи.

Самолет улетал из Москвы 29 марта в восемь часов утра. В аэропорт нужно было приехать за три часа до отлета для прохождения таможенного досмотра и выполнения необходимых формальностей. Решили такси не заказывать, а все — и семья Александра Исаевича, и провожающие — поедут в аэропорт на машинах друзей.

Я подъехал к их дому около четырех часов. У подъезда уже стояли 3 или 4 машины. Несмотря на глубокую ночь и темень, во дворе перед домом слонялось довольно много «посторонних» людей: были здесь и «влюбленные» парочки, и пожилые «пенсионеры», которых, надо полагать, мучила бессонница. Один из этой публики держал открытую тетрадь: он подходил к каждой вновь подъезжавшей машине и демонстративно записывал ее номер. Чуть поодаль стояло несколько машин с какими-то людьми.

Неожиданным было появление нескольких свободных такси, которые никто не вызывал. Они остановились в прилегающем переулке, а водители подошли, предлагая свои услуги.

Отъехали только около пяти часов. В мою машину сели дети.

В аэропорт, куда мы приехали через полчаса, семью Александра Исаевича ожидала большая группа иностранных корреспондентов. Кроме того, сюда подъезжали еще и другие провожающие.

Всего собралось на проводы в зале ожидания человек пятьдесят. Непрерывно вспыхивали «блици» корреспондентов, некоторые снимали портативными кинокамерами.

Процедура досмотра и необходимых формальностей проводилась довольно долго, но подчеркнуто корректно, и никаких эксцессов не произошло.

Потом было довольно тягостное прощание.

Около половины восьмого объявили посадку на самолет. В какой-то момент, когда уже отделенные от оставшихся, но еще в здании аэропорта отъезжающие поднимались в верхний зал для выхода на летное поле, Наташа с Ермолаем на руках подошла к перилам и крикнула стоявшим внизу:

— До свидания! Мы вернемся!

Я понимал, что мое деятельное участие в судьбе семьи Александра Исаевича не

останется без последствий. Эти «последствия» проявились достаточно быстро.

2 апреля 1974 года утром меня пригласили в отдел кадров института, где междомной, начальником отдела кадров Костромином и моим новым начальником, Игнатовым, состоялась такая беседа.

— Товарищ Горлов, в связи с тем, что Вы, к сожалению, не прошли конкурс, мы вынуждены Вас уволить по сокращению штатов, — начал Костромин. — Но, исходя из необходимости Вашего трудоустройства, мы предварительно предлагаем Вам перейти на имеющуюся вакантную должность старшего инженера с окладом 140 рублей (а я в это время получал оклад 340 рублей). Другой вакансии в институте нет.

— Я думаю, — сказал Игнатов, — что если бы Вы согласились, нам бы удалось дать Вам наивысшую ставку для старшего инженера — 150 рублей. А работу Вы будете выполнять прежнюю.

Я спросил:

— Как это — работа прежняя, а оклад в 2,5 раза ниже?

— Ну, так уж получается, — мои собеседники развели руками.

— Я могу еще работать шофером: у меня профессиональные права и 20-летний стаж вождения автомобиля. Может быть, Вы можете использовать меня на этой работе?

— Ну, зачем же так, — обиделся Костромин. — Мы Вам предлагаем интеллектуальную работу, по Вашей специальности.

— Когда я должен дать ответ?

— Сегодня, в крайнем случае — завтра утром.

К этому времени дирекция института издала ряд организационных приказов, которые как будто давали возможность провести со мной намеченную акцию: сначала формально предложить какую-либо явно неприемлемую для меня должность и после моего отказа — уволить.

На другой день, после беседы с начальником отдела кадров и новым начальником своего отдела, я заявил им, что считаю высказанный мне ультиматум издевательством и оставляю за собой право опротестовать действия администрации. Одновременно я отправил письмо в рабочую партию.

В этом письме я упомянул о беседе с «главным лицом» в районе, где находится наш институт, первым секретарем райкома партии Чаплиным Б. Н. По рассказам, это был умный человек, имеющий ученую степень кандидата наук. Его отец в прошлом один из видных деятелей партии, секретарь ЦК ВЛКСМ, был расстрелян Сталиным в 1937 году. Когда прошел «сентябрьского» митинга в нашем институте на меня «повели наступление» всех сторон, друзья советовали мне вст

титься с Чаплиным и попытаться с ним откровенно обо всем поговорить: может быть, он и даст команду нашему директору оставить меня в покое. В середине октября 1973 года я записался к нему на прием и он меня принял. Однако состоявшаяся беседа, хотя и была довольно продолжительной, ни к чему не привела. Он не отходил от ортодоксальной линии и тоже призывал меня осудить Солженицына: тогда зарубежная пресса, дескать, потеряла бы ко мне всякий интерес и у меня все стало бы очень хорошо. Я же говорил ему, что зарубежная пресса потеряла бы ко мне интерес еще раньше, если бы действиями администрации этот интерес не подогревался. В заключение он все же сказал, что «наведет справки» и что все будет «объективно и по справедливости». Думаю, что на встречу со мной он пошел из чистого любопытства: посмотреть, что это за «зверь», который дружит с Солженицыным.

4 апреля начальник отдела кадров вручил мне копию следующего проекта приказа по институту:

«1. В связи с реорганизацией отдела автоматизации проектирования строительных конструкций в научно-исследовательский и проектно-экспериментальный и упразднением ряда штатных должностей в проектной части:

Гл. специалиста Горлова А. М., не избранного по конкурсу ст. научным сотрудником, перевести с 1 апреля с. г. на должность ст. инженера проектной части того же отдела с окладом 150 рублей в месяц».

Одновременно он попросил меня написать на этом проекте, согласен я с таким приказом или нет.

— А зачем Вам нужно, чтобы я что-то писал?

Он мне обстоятельно разъяснил:

— Если Вы согласны, то мы подписываем приказ и переводим Вас на должность старшего инженера. Если не согласны, то мы пишем приказ обувольнении Вас с работы, получаем на нем визу месткома профсоюза — таков, к сожалению, порядок (это его слова. — А. Г.) — и освобождаем Вас от работы по сокращению штатов.

— А если я ничего не напишу?

— Тогда мы повторим то же в присутствии трех свидетелей и Ваш устный отказ что-либо написать на проекте приказа нам будет достаточен для Вашего увольнения.

¹ Осенью 1974 года Чаплин организовал разгром выставки советских художников-авангардистов, сделанной ими без разрешения властей на Профсоюзной улице. Это получило огромный международный резонанс. После этого Чаплина отправили послом во Вьетнам. Его место занял Полунин.

— Ну, что же, давайте разыграем этот спектакль: я отказываюсь писать свое мнение об этом проекте.

— Хорошо, — и он ушел со своими бумагами.

Судя по проекту приказа, дирекция поняла нелепость своих предыдущих постановлений. Здесь уже речь идет просто о сокращении штатов в проектной части. Но тогда непонятно, при чем же здесь я: ведь в научной части, куда я уже оказался переведенным, сокращений нет! И какое ко всему этому отношение имеет упоминание о конкурсе?

В конце дня меня пригласили в кабинет начальника отдела, где были начальник отдела кадров и профорг отдела. Начальник отдела кадров, как в суде, торжественно зачитал уже цитировавшийся проект приказа.

— Товарищ Горлов, все ли Вам ясно в этом приказе?

— Да, все.

— Согласны ли Вы написать свое мнение о нем?

— Не согласен.

— Понимаете ли Вы, что за этим последует?

— Догадываюсь.

— Тогда мы составляем акт, что в присутствии здесь находящихся официальных лиц Вы отказались визировать проект приказа.

Он вынул уже отпечатанный акт, на котором он и «понятые» расписались.

В этот день у меня состоялась еще одна любопытная беседа: я позвонил после трехмесячного перерыва в НИИ оснований спрятаться, а что же там? Вроде бы и ВАК в своем последнем письме в прошлом году интересовался, как с диссертацией Горлова?

Трубку взял ученый секретарь Глушко:

— Я слушаю!

— Здравствуйте, это говорит Горлов...

Больше я ничего не мог сказать: он поперхнулся и начал надсадно кашлять. Я терпеливо ждал, а он все кашлял и кашлял и никак не мог остановиться! Прошла минута, другая... Мне стало совестно за свой звонок: жил себе человек спокойно, а тут на тебе — опять Горлов! Наконец, он выдавил:

— Здравствуйте, я очень рад Вас слышать.

— Я хотел узнать, как мои дела?

— Какие дела?

— С диссертацией.

— Какой диссертацией?

Я минуту помолчал, а потом сказал:

— Которую, если верить Вашим извещениям, я уже защитил. Когда и где я могу получить диплом доктора?

— Ах, вот Вы о чём! Вы еще и шутник, товарищ Горлов! Знаете ли, еще никак. Мы изучаем Вашу характеристику и не знаем, как быть. У нас сейчас, как по

пословице: и кой-куда не сесть, и ягодку не съесть!

Я никогда такой пословицы не слышал и не понял поэтому, куда нельзя сесть.

— Ну, а когда же что-нибудь прояснится?

— Не знаю, не знаю. Мы о Вас не забываем, и, если будет что-то новое, позовим.

Итак, «изучают» характеристику. Ну, что ж. Как говорится, Бог в помощь. Но все же интересно, сколько времени понадобится ученым из НИИ оснований на изучение этого «манускрипта»?

Заседание институтского комитета профсоюза — местком, который должен был дать согласие администрации на мое увольнение, — состоялось 24 апреля.

С 30 апреля 1974 года впервые за 20 лет своей непрерывной трудовой деятельности я стал безработным — накануне международного праздника солидарности трудящихся — 1 Мая. Никаких сбережений на такой случай я не имел, а надежды на какое-то трудоустройство по профессии, в свете развивающихся вокруг меня событий представлялись мне весьма проблематичными.

А через несколько дней мне позвонили из Черемушкинского райкома партии:

— Товарищ Горлов, мы просим Вас зайти в связи с Вашей последней жалобой на действия администрации.

Я чуть было не расхохотался в трубку:

— Ваше приглашение немного запоздало: администрация уже сделала со мной все, что ей требовалось.

— Но мы же должны закрыть дело по Вашей жалобе? Поэтому, пожалуйста, приезжайте.

Любопытство взяло верх, и я поехал. Принял меня инструктор Фаломеев — ничего не решавший технический работник райкома. Он очень важно меня встретил, пригласил сесть и сообщил следующее:

— Я очень внимательно изучил Вашу жалобу и пришел к выводу, что нет оснований подозревать администрацию Вашего института в тенденциозности.

— И это все, что Вы хотели мне сказать?

— Да, все. А что бы Вы хотели еще услышать?

— Но ведь это можно было передать и по телефону, не заставляя ехать на свидание с Вами через весь город.

— Что же здесь особенного? Вы теперь человек свободный, да и машина у Вас есть. Почему бы не прогуляться.

— Да-а. А мне казалось, что инструктором райкома партии должны были бы взять умного человека.

— Ну, зачем же Вы так говорите «умного человека»? — обиделся он.

— Я же сказал — «мне казалось».

— Что казалось?

— Насчет умного.

— Ну, тогда ладно. А то я Вас, наверно, неправильно понял. У вас есть еще вопросы или, может быть, Вам что-то неясно?

— Теперь уже все ясно, а потому и вопросов нет.

На том и расстались. Я еще пообещал, что не буду больше тревожить райком своими письмами, так как наконец осознал бессмысличество этого труда.

Часть IV

«НА ДОСУГЕ»

Суд идет!

Два новых в моей жизни обстоятельства влияли на происходившие со мной в это время события.

Это, во-первых, прямой контакт с работниками КГБ: раньше они только угадывались где-то за спинами институтской администрации, а теперь решили завязать со мной непосредственное «знакомство». Как в фантастическом будущем людей у Г. Уэллса: раз уж меня столкнули с дневной поверхности в подземелье — то я неизбежно становился добычей его обитателей — морлоков. И, во-вторых, отсутствие постоянной профессиональной работы, заставлявшее меня все время искать источники существования для семьи, но зато и дававшее свободу распоряжаться своим временем.

К собственному удивлению я вдруг заметил, что теперь временами стал давать оценку происходящим событиям, чего раньше делать избегал, строго придерживаясь описания фактов: пусть другие судят о них. Наверно, в этом и заключается суть опасного для всех правителей разлагающего действия на граждан излишнего досуга: рождается склонность к некоторой созерцательности и абстрактному мышлению.

Я уже писал, что уволили меня с нарушением советского трудового законодательства. Повод для увольнения — сокращение штатов — был абсолютно несостоятельный, так как институт два года назад реорганизовался, получил значительное увеличение объема финансирования и, следуя, очевидно, закону Паркинсона, быстро расширялся территориально и численно. Достаточно сказать, что за последние два года число сотрудников института увеличилось на 200 человек, и численность штата продолжала возрастать. А сократили за это время лишь одного человека — меня.

Была и формальная нелепость, заключавшаяся в том, что, как я уже говорил, к моменту увольнения я был переведен в научную часть. А сокращение по закону

много было провести только в проектной части института, и, следовательно, ко мне оно никакого отношения иметь не могло. Но тем не менее меня так-таки уволили из научной части вследствие «сокращения штатов» в проектной...

Поэтому, раз налицо нарушение закона, то естественно было обратиться в учреждение, стоящее на его страже, — в суд. Я так и сделал, направив в суд Черемушкинского района Москвы заявление с просьбой восстановить меня на прежней работе в судебном порядке.

3 июня меня пригласил районный судья (по фамилии Алешин).

— Товарищ Горлов, я получил Ваше исковое заявление и хочу сказать, что это дело не подлежит рассмотрению в суде.

— Почему?

— Вы занимали руководящую должность, увольнение с которой не может быть обжаловано через суд. Поэтому заберите назад свое заявление.

Я стал объяснять судье свою ошибку. Он грустно (как мне показалось) смотрел на меня, подперев голову рукой. По-моему, он не слушал, а просто ждал, когда я кончу. Потом сказал:

— Приходите завтра утром: я тут кое-что уточню и мы продолжим разговор.

На другой день утром, когда я к нему явился, у него сидели какие-то двое мужчин.

Вначале он подробно выспрашивал меня, что я делал с момента увольнения и почему так долго не обращался в суд. Потом сказал:

— Я должен по этому поводу поговорить с вашим институтским начальством.

— Так Вы примите у меня заявление, а перед судом или на суде с ними и поговорите.

— Нет, я хочу поговорить с ними сначала. Приходите сегодня в 2 часа дня.

Когда я приехал снова к этому часу, то застал судью в коридоре за прикалыванием к двери своего кабинета записки: «Тов. Горлов, приходите ко мне послезавтра в 18 часов». «Послезавтра» он сказал:

— А, вот и Вы. Значит, я теперь жду Вас 6-го во второй половине дня.

— И как долго мы будем так встречаться и договариваться о новых встречах?

— Я же сказал: приходите послезавтра. Тогда обо всем и поговорим.

Пришел, как он велел, но опять не «поговорили», так как ему было «еще не все ясно в этой странной истории». Через два дня ему, очевидно, все «разъяснили», он принял, наконец, мое заявление и назначил слушание дела на среду 12 июня.

Когда я в назначенное время приехал в суд, там уже находилась довольно большая делегация со стороны ответчика; начальник отдела кадров — Костромин, председатель месткома профсоюза — Панфилова, ее заместитель — Эпель-

цвейг, новый начальник моего отдела — Игнатов и еще два или три незнакомых мне человека. Вся эта команда молча мне кивнула, и вскоре все прошли в зал заседаний.

Однако суд не начинался. Прошло 10 минут, 20, 30, 40... Временами выходил секретарь и сообщал, что «у судьи совещание». Наконец появились и совещавшиеся: судья, два заседателя и еще какой-то средних лет представительный полный мужчина, который, сказав что-то на ходу судье, прошел в зал и сел на заднюю скамейку. Было похоже, что судейская процедура идет в обратной последовательности: сначала «суд удалился на совещание», принял решение, а потом начал слушание моего дела. Во всяком случае, последовавшее затем «разбирательство» это впечатление подтвердило.

По судейской формуле меня спросили, не имею ли я что-нибудь против присутствующих судьи, заседателей и еще какой-то нервной дамы, оказавшейся потом прокурором. Я, естественно, ничего против них иметь не мог, и суд начался.

Судья спросил Костромина как представителя ответчика, не желает ли он удовлетворить мое требование и без суда восстановить меня на работе. Тот сказал, что он бы с большой охотой это сделал, но такой возможности нет.

После этого мне предоставили слово, и я подробно объяснил, почему считаю свое увольнение не законным, а расцениваю его просто как репрессивный акт.

Затем стали высказываться свидетели: Игнатов, Панфилова, Эпельцвейг. И тут в их заявлениях неожиданно для меня прозвучал новый аргумент: дескать, уже больше месяца, как Горлова уволили, а на работе это никак не отразилось. Отдел по-прежнему выполняет план, темы «идут» и вообще все в порядке. Следовательно, Горлов действительно был в институте лишним и его сократили правильно, в интересах производства! Говорил об этом, в основном, Игнатов, а навел его на это судья вопросом: «Как оказалось увольнение Горлова на работе отдела?»

— Вот видите, — встала вдруг дама — прокурор, — действительно, сокращение штатной должности Горлова было целесообразным.

При такой логике я не сразу нашелся, что отвечать. Сказал в запальчивости что-то вроде того, что если бы, например, уволить самого товарища Игнатова, то работа от этого только бы выиграла. Хотел добавить то же самое и про директора Гусакова, но воздержался.

Все дальнейшее «разбирательство» проходило, как на экране немого кино: что бы я ни говорил, присутствующие вели себя так, как будто я только раскрываю рот, не произнося ни звука. У меня возникла полная иллюзия того, что я на-

хожусь в окружении глухих: какие бы доводы я ни приводил, их никто не обсуждал и не опровергал, как будто я ничего не говорил!

В своей речи прокурор (правда, волнуясь и заикаясь) сообщила, что увольнение это законно, потому что проводилось сокращение штатов... И что, как следует из показаний свидетелей, работа от этого не пострадала, следовательно, сокращение Горлова действительно произошло в интересах производства, да и профсоюз такое увольнение санкционировал.

Наконец, по процедуре мне дали последнее слово. Я, наверно, в десятый раз и уже в полной растерянности, привел свои аргументы, которые мне самому стали надоедать. Как и раньше, меня никто не перебивал, но и не слушал.

Судья с заседателями (последние за все время не проронили ни слова) отправились принимать решение. Вскоре секретарь объявила:

— Суд идет!

И он пришел.

Я, на этот раз уже стоя, выслушал еще раз то же самое, что говорила прокурор: что было сокращение, что увольнение законно, что мои протесты необоснованны и так далее. А также, что я могу жаловаться в высшие судебные инстанции, если не удовлетворен решением районного суда.

Через несколько дней я такую жалобу отправил в городской суд. Хотя почти все мои друзья и убеждали меня в том, что мои действия бессмысленны и что ни о каком объективном разбирательстве в судах не может быть и речи, но я не мог сразу остановиться, смирившись с несправедливостью, еще и потому, что находился под воздействием инерционных сил.

К этому времени стали подходить к концу деньги, полученные мной при расчете в институте, и нужно было искать какие-то источники существования для семьи. На работу по специальности в Москве меня не брали, и я решил на время уехать в глухие места, где обо мне никто не слышал и где можно было бы устроиться временно рабочим на строительство. Такая возможность мне вскоре представилась, и в конце июня я уехал работать плотником в Воркуту — заполярный город, построенный в тундре заключенными в сороковых годах нашего просвещенного века на месте богатого месторождения угля. В прошлом это был один из крупнейших островов призрачного архипелага ГУЛАГ. Сейчас там платят полуторную надбавку к зарплате из-за тяжелых климатических условий, а это в данных обстоятельствах для меня было очень важно.

Рассмотрение моей жалобы в городском суде состоялось в начале июля уже без меня: мои интересы в суде на этот раз защищал очень известный, умный и опыт-

ный адвокат. Учитывая опыт первого разбирательства, адвокат теперь строил свою аргументацию только на очевидном формальном нарушении закона: приказ об увольнении был издан там, где я в штате и не числился, — в проектной части института, а уволили меня оттуда, где никаких сокращений не было — из научной части. Все это было исчерпывающе аргументировано представленными приказами и распоряжениями по институту.

Но зрямо — для зрячих. Адвоката тоже слушали, не перебивая и с ним не споря. А потом — «суд удаляется на совещание», «суд идет» — и все, как по маслу: «Протест Горлова не обоснован, увольнение законно». И все! Как и в первый раз, сказали, что можно жаловаться еще выше.

Но теперь я решил уже остановиться. Одно из двух: или затевать судебную тяжбу с привлечением внимания общественности и иностранных корреспондентов, или на все пока махнуть рукой. В это время мой сын окончил школу и сдавал вступительные экзамены в институт, и я, опасаясь помешать ему, решил пока ничего больше не предпринимать.

На этом и закончилось мое знакомство с советским судопроизводством: больше я не пытался восстановить свои права через суд.

Вскоре после моего увольнения из института таким же приблизительно «демократическим» методом был изгнан и В. Ф. Турчин. Правда, он, учитывая, возможно, мой опыт, судиться с администрацией не стал.

Еще раз про «Стук, стук, стук...»

Беседа первая

Утром 24 мая у меня дома раздался неожиданный телефонный звонок:

— Товарищ Горлов? Говорит полковник КГБ Зенин Михаил Александрович. Не могли бы Вы сегодня приехать в приемную КГБ, что на Кузнецком Мосту, дом 24? Мне бы хотелось поговорить с Вами по очень важному для Вас и Вашей семьи вопросу.

— А о чем приблизительно должен быть разговор?

— Речь пойдет о Вашем сложном настоящем состоянии, связанном с увольнением с работы, неясностью с защитой диссертации и другими важными для Вас делами.

Около часа дня я был в КГБ. В приемной ко мне подошел мужчина в штатском:

— Пройдемте со мной. Полковник Зенин ждет Вас.

Меня провели по нескольким коридорам, мимо часового в форме войск КГБ. Мой провожающий наконец остановился у одной двери, приоткрыл ее.

Кабинет, в котором я оказался, был сравнительно небольшим: в нем могло находиться одновременно человек 15—20, не более. Провожающий вышел, дверь захлопнулась на внутренний замок. Мне навстречу поднялся невысокий мужчина в штатском и протянул руку:

— Здравствуйте, товарищ Горлов, садитесь. Давайте знакомиться: полковник Зенин, начальник подразделения, ведающего делами Александра Исаевича Солженицына. О Вас я знаю давно, хотя впервые увидел только на аэродроме при отъезде семьи Александра Исаевича. Я профессиональный чекист, разведчик, раньше в основном работал за рубежом.

Александр Исаевич начал открытую борьбу с советским государством. Его оружием здесь стал «Архипелаг ГУЛАГ», о котором вы, конечно, знаете. Александр Исаевич был нами арестован и обвинен в измене Родине, за что ему полагалась смертная казнь. Но мы решили, учитывая политическую ситуацию, просто выслать его из страны. Может быть, здесь мы и ошиблись — мы ведь люди, и в нашей работе, к сожалению, тоже бывают ошибки, — но будущее покажет, был ли этот шаг правильным. Кстати, должен Вам сказать, что напрасно Александр Исаевич огульно позорит весь аппарат госбезопасности: лагерями заключенных ведало специальное управление, которое относилось к МВД. А мы здесь ни при чем? Мы занимаемся разведкой и контрразведкой, охраняем только интересы государства, а не заключенными.

Для чего это он мне все рассказывает? Я продолжал молча слушать.

— Теперь перейдем к Вам. Я подробно знаю всю Вашу драматическую историю и считаю, что попали Вы в нее, «как кур в ощи». И хотя Александр Исаевич на весь мир объявил Вас своим ближайшим другом, но думаю, что это не совсем правильно. Я-то уж точно знаю, что у него есть друзья поближе, такие же фанатики, как и он сам. С ними можно только бороться, а не разговаривать по-человечески, как, например, мы с Вами сейчас.

Я еще не проронил ни слова.

— Хочу попутно сделать Вам комплимент: несмотря на все жизненные передряги и оказываемое на Вас давление, держались Вы стойко и не сдали позиций, даже потеряв положение в обществе и почти все материальные блага, которые столько лет зарабатывали. Но это, конечно, со стороны Вашего директора и районных деятелей была глупая тактика. Зачем, спрашивается, так ломать человека, если он не переламывается? Ну, не может человек сделать что-то, что ему противно, так и оставьте его в покое!

Тут он прервался и, извинившись, позвонил по телефону, сказав кому-то, что задерживается, но чтобы его ждали.

— Так вот, раз уж Вы в эту историю попали, давайте подумаем вместе, как Вам лучше из нее выпутываться. А положение у Вас действительно создалось тяжелое. Во-первых, докторская диссертация, над которой Вы столько лет работали, висит на волоске. Во-вторых, как это ни прискорбно, Вас выгнали с работы, несмотря на то, что Вы специалист высокой квалификации: все работавшие с Вами очень Вас ценили. Я понимаю, что для такого специалиста, как Вы, безработица — это духовная гибель. Я уже не говорю о том, что нужны ведь средства, чтобы кормить семью. А тех небольшихбережений, которые есть у Ваших родителей, надолго не хватит. И, наконец, последнее: Вашей жене тоже грозит увольнение и уголовное наказание.

Я постарался никак не выдать охватившее меня смятение:

— А она в чем виновата?

Он минуту или две выждал, делая вид, что занят какими-то записями, и как бы между делом сказал:

— Она в служебное время размножала на машинке антисоветскую литературу.

— Какую литературу?

— Ваши мемуары.

— Мои... что?

— Ну, воспоминания, которые Вы давно уже пишете о происходящих с Вами злоключениях из-за дружбы с Александром Исаевичем. Ведь пишете же?

Я молчал.

— Ну, хорошо. Не хотите говорить, не надо. Я сам могу их Вам показать.

Он раскрыл папку, и я увидел страничку из своих записок, начинающуюся словами: «...29 марта из Москвы уезжала семья А. И. ...» и следующий далее мой текст. Под этой страничкой было скрепкой подковото еще страниц 30, но их он мне не показал.

— Все очень просто. Ваша супруга печатала эти материалы на работе, а использованную копировальную бумагу (вот она здесь) бросала в корзину. По этой копирке и восстановлен текст Ваших записей. Вот и протокол с работы Вашей жены со всеми необходимыми подписями по поводу этого дела, которое можно хоть сейчас передавать следователю. Как видите, я играю в открытую, чтобы прийти с Вами к разумному соглашению.

Он опять прервался, на этот раз внимательно глядя на меня и оценивая, очевидно, произведенное впечатление. Затем опять заговорил, не сводя с меня глаз:

— С сыном у Вас тоже предстоит решать сложные проблемы. Ведь он у Вас выпускник и собирается, как мне известно, поступать в университет. Я знаю, что он талантливый мальчик, досрочно кончавший школу. Но Вы же знаете, как сейчас трудно поступить в вуз и тем более в МГУ. А если при этом приемной ко-

миссии станет известна репутация родителей: отец — друг Солженицына, за что изгнан с работы и лишен возможности защитить докторскую диссертацию; мать — тоже выгнана с работы за размножение антисоветской литературы и находится под следствием? Так что наиболее полно Ваше положение можно оценить по пословице: куда ни кинь — всюду клин. Что можете Вы здесь предпринять? Давайте разберем.

Он сделал паузу и продолжал:

— Надеяться поступить на мало-мальски приличную работу Вы не можете по двум причинам: во-первых, из-за Вашей репутации диссidentа, а во-вторых, просто потому, что Вы — еврей (Вы же, надеюсь, реалист и понимаете ситуацию в стране?). Какой же директор при таких обстоятельствах согласится Вас взять? Хочу мимоходом коснуться еврейского вопроса. Эта проблема не в сфере моей деятельности, но волнует меня лично. Я всегда искренне уважал евреев, ценил еврейский ум и талант. Еще будучи студентом юридического факультета, я имел много друзей среди евреев. Но что сейчас происходит — совершенно не понимаю. Откуда вдруг между нами возникла такая пропасть? Я хочу как-нибудь потом с Вами на эту тему поговорить подробней, но уже в личном плане. А сейчас вернемся к нашим делам. Мне известно, что в связи с возникшим для Вас тупиком Вы рассматривали возможность отъезда из страны. Но Вы же разумный человек и должны понимать, что для Вас это не выход. Во-первых, у Вас в семье на этот счет нет согласия. Ваши престарелые родители (и Ваши, и Вашей жены) — против этого и с Вами не поедут. Как же Вы их бросите? Во-вторых, куда бы Вы ни поехали — лучше, чем здесь, Вашей семье не будет. В Израиле Вы не нужны: там сейчас перепроизводство «интеллектуалов», а нужны солдаты и рабочие. В других капиталистических странах Вам совсем будет тяжело: Вы не приспособлены жить в обществе, где нужно вырывать себе кусок зубами, да и начинать все с нуля на пятом десятке — дело в наше время почти невозможное. На что же Вы можете рассчитывать? На помощь Александра Исаевича? Но это же совсем глупо! Во-первых, не сможете же Вы долго жить на его подачки, даже из чисто моральных соображений. А во-вторых, мужик он фанатичный и прижимистый, я его знаю лучше Вас. Для него главное — его идеи, во имя которых он пожертвует своими детьми, а не только что Сашей Горловым (так он ведь Вас называет?). О его «встрече» с Максимовым слышали? Вот и Вас ждет то же: здесь Вы были ему нужны, а туда приедете — он и разговаривать с Вами не станет. К тому же у него сейчас мания преследования: боится, что мы его хотим

убить, и поэтому вообще ни с кем не встречается. Любит почему-то только чехов, которых допускает к себе. А зачем нам его убивать? Он и так скоро никому там не будет нужен. Ну вот, как будто бы перед нами полная и ясная картина. Мы здесь с Вами одни, без посторонних свидетелей, и давайте по-деловому попытаемся о чём договориться, чтобы найти выход из этого тупика.

— Я не совсем уверен насчет отсутствия свидетелей, но это неважно.

— Так Вы же видите, что мы здесь только вдвоем!

— Я полагаю, что где-то здесь что-нибудь крутится во время нашей беседы. И даже, наверно, не в одном месте.

Он заулыбался и сказал:

— Ну, что Вы! Мне это ни к чему: у меня и так хорошая память.

И затем уже серьезно продолжал:

— Так вот, я готов Вам помочь: Вы сможете и защитить диссертацию, и получить хорошую работу, и вернуть себе репутацию достойного нашего общества человека. Но для этого необходимо, чтобы Вы выполнили два условия. Сначала первое: Вы не распространяете свою рукопись и не передаете ее за рубеж. Можем мы с Вами об этом договориться?

— Можем. Я объясню почему. Я избрал своей карьерой научную, а не политическую деятельность, и мои записи — это первый общественно-политический опыт.

— А для чего Вы их писали?

— Очень просто. Вы меня выгнали с работы, и я начал писать воспоминания из-за обилия свободного времени.

— А, понимаю: природа не любит пустоты. Так что ли? Значит, мы в этом и виноваты. Хорошо, допустим, согласен. Раз по первому условию договорились, перейдем ко второму. Это даже не условие, а так — мелкая просьба к Вам. Дело в том, что пока Александр Исаевич жил у нас в стране, он видел своими глазами нашу жизнь и получал правильную информацию о ней. Сейчас он от этой жизни оторван, окружен нашими врагами и, естественно, не имеет канала, по которому мог бы получать отсюда достоверную информацию. Так вот, мы хотим, чтобы таким информатором для него стали Вы. Ведь Вы же, очевидно, тоже заинтересованы, чтобы он получал из нашей страны правильную информацию?

— Простите, но я что-то ничего не понимаю. Вы просите меня о том, чтобы я писал ему письма о нашей жизни?

— Вот, вот, именно так. Только эти письма будем писать мы.

— Вы?

— Да, мы.

— А при чём же здесь тогда я?

— А Вы их будете отсылать от своего имени.

Мне кажется, что в этот момент у меня был настолько обалденый вид, что, глядя на мое лицо со стороны, нельзя было бы не расхохотаться. Но мой собеседник был абсолютно серьезен, и приходилось признавать, что вся эта абракадабра — не сон.

— А почему Вы сами не хотите ему их отсылать?

— Я бы с удовольствием. Но только боюсь, что мои письма Александр Исаевич читать не будет.

Я посоветовал:

— А Вы так пишите, чтобы ему было интересно.

— Не получится: ведь у нас разные интересы. А вот от Вас наши письма он, наверно, читать будет. И будет отвечать. Его письма, Вы, естественно, будете передавать нам.

И продолжал как о решенном деле:

— Встречаться с Вами мы будем не здесь, а в каких-нибудь нейтральных местах, например, в вестибюлях гостиниц. Этот вопрос мы обсудим потом подробнее. Вот и все. Если мы с Вами до всего договорились, то я докладываю об этом своему начальству и с сегодняшнего дня все Ваши неприятности становятся лишь грустным воспоминанием. Впереди Вас ждет широкий простор профессиональной научной деятельности и заслуженные дивиденды.

Наступила пауза. Он стал сосредоточенно что-то искать на столе, а я пытался в этой чудовищной ситуации выбрать правильную форму поведения и никак не мог: то ли послать его куда подальше, то ли попытаться как-нибудь схитрить. Но, очевидно, его уже неоднократно в жизни и посыпали, и пытались обмануть, так что вряд ли его можно провести. А ведь за этим стояли судьбы жены, сына, близких! Я решил пока затянуть и разговор, и решение вопроса:

— Но ни Александр Исаевич, ни члены его семьи мне еще ничего не писали. Чего вдруг я должен им начинать писать? Это вызовет только подозрение Александра Исаевича.

— Не волнуйтесь, скоро получите письмо.

— Может быть, Вы мне сами его и отадите?

— Если Вы думаете, что оно у меня в столе, то ошибаетесь: получите обычным путем.

И вдруг добавил:

— И Наташа скоро приедет. Мы ей разрешим.

— Можно полюбопытствовать: почему Вы для этой цели остановились именно на мне?

— Очень просто: во-первых, Вы умный человек, а не диссидент-фанатик. Во-вторых, Александр Исаевич как будто Вам доверяет. В-третьих, Вас должна беспоко-

ить судьба сына и близких. И потом, почему Вы решили, что будете писать от нас Александру Исаевичу один, а не в числе еще 100 других таких же корреспондентов? Кстати, пусть Вас не смущает мысль о том, что Вы становитесь как бы доносчиком КГБ. Вы читали «Архипелаг ГУЛАГ»? Нет? Там есть такая глава: «Стук, стук, стук». Это о штатных наблюдателях и доносчиках среди заключенных в лагерях. К Вам это никакого отношения иметь не будет: ведь мы не охранники лагерей, а разведчики на службе государства, и Вы будете служить благородной цели, доставляя Александру Исаевичу правдивую информацию. Ну, так договорились?

— Нет.

— Что нет?

— Я не смогу выполнить Ваше второе условие. Согласен только на первое: не пускать в свет свою рукопись.

— Это нас не устраивает, это почти что ничто. Вашу рукопись мы могли бы взять и сами без Вашего согласия: квартира Ваша часто пустует, а «сторожит» ее приветливая и очень ласковая собачка Дина. Понимаете, о чем я говорю?

— Понимаю. И тем не менее то, чего Вы требуете, противно моему естеству, а потому для меня и невыполнимо.

— Вот как? Значит, Вы не хотите оказать ничтожную услугу государству, в котором выросли и живете? Вы же, наверно, понимаете, что мы должны тогда считать Вас в стане наших врагов, с которыми будем бороться всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами. В современных условиях нейтралов нет. Убивать, правда, сегодня мы Вас не намерены: это в милиции костоломы, а у нас методы более тонкие. Между прочим, нам известны Ваши нелестные высказывания о советском общественном строе, которые Вы себе позволяете в беседах. Надо полагать, что дружба с Александром Исаевичем для Вас не прошла бесследно и Вы таки попали под его влияние.

Тон его разговора резко изменился.

— Хочу еще добавить, что, как Вы понимаете, выезд из страны для Вас возможен тоже только с нашего согласия.

Эту беседу необходимо было сохранить. И я решил выиграть для этого время:

— Можно, я дам Вам окончательный ответ через неделю?

— Ну, что же. Жаль, конечно, что все откладывается. Ведь это не мне нужно: это Вы без работы, а не я. Давайте тогда договоримся, что встречаемся здесь же в следующую пятницу, 21 мая. Я, правда, могу быть в отъезде, но тогда Вас предупредят. И последнее условие: если о содержании нашего разговора кто-нибудь узнает, то Вы познакомитесь с камерой в Лефортове, в которой сидел Александр Исаевич. Там с тех пор ничего не измени-

лось, хотя условия лучше, чем в былья времена.

Я сказал:

— О камере Вы упомянули напрасно: могли уже убедиться, что на меня такие вещи не действуют.

Он пропустил мою реплику мимо ушей, встал из-за стола и, опять став приветливым, начал со мной прощаться:

— До свидания. Идемте, я прикажу часовому Вас пропустить. Значит, я Вас жду в следующую пятницу.

На этом мы и расстались.

А в назначенное время 21 мая мне утром позвонили домой:

— Товарищ Горлов? Говорит заместитель полковника Зенина. Полковник сейчас в командировке и просил передать, что позвонит Вам на следующей неделе. До свидания.

— До свидания.

Беседа вторая

Вторая беседа с полковником Зениным состоялась через 2 недели, в пятницу 7 июня. Продолжалась она около 4 часов.

На этот раз обстановка была значительно более торжественной. Их теперь было трое: сам Зенин, сидевший во главе стола, один молодой светлый мужчина, записывающий беседу, но не принявший в ней участия, и еще один — плечистый, с толстым лоснящимся лицом. Все были в штатском. На столе стоял магнитофон, микрофон от которого верзила все время подсовывал ко мне.

— Итак, товарищ Горлов, у вас были две недели на размышления. К чему же вы пришли?

— Все к тому же: я готов взять на себя обязательство не распространять свою рукопись, но второе условие, относящееся к переписке с Солженицыным, для меня неприемлемо.

— Ах, вот как! Ему, видите ли, неприемлемо помочь советскому государству! — даже не заговорил, а как-то тихо зарычал верзила. — Зато помочь нашим врагам — это ему приемлемо? Там — архивы перепрятывать, тут — колеса починить...

— Какие архивы, какие колеса?

— А какие колеса вы чинили всю прошлую субботу?

Я сообразил, о чем идет речь. Дело в том, что уезжая из Москвы, Екатерина Фердинандовна подарила свою машину — «Москвич-412» — А. Гинзбургу. 31 мая мне позвонила страшно расстроенная жена Гинзбурга, Арина, и рассказала, что прошедшей ночью все шины у автомобиля были кем-то изрезаны. Она очень просила меня помочь восстановить машину, так как ей с ребенком нужно было срочно переезжать в Тарусу, где в больнице лежал ее муж. Когда я в тот же

день увидел машину, то глазам своим не поверил: шины были искромсаны так, что почти полностью развалились. О ремонте их не могло быть и речи, нужно было искать новую резину. Этим я и занимался весь следующий день, пока удалось купить частично новые, частично старые шины, смонтировать их и увести машину на охраняемую стоянку. Когда Арина мне первый раз позвонила, я, кажется, прореагировал так: «Ах, сволочи! Вот бандиты!»

— Но позвольте, как же я мог отказать женщине в помощи, если это было в моих силах? А вы бы отказали?

— Меня бы и не просили, не волнуйтесь. Это вы там все время крутились в роли техпомощи, где надо и где не надо. А вы, случайно, не помните, как называли тех, кто порезали шины?

— По-моему, бандитами...

— Смотрите, помнит!

— А что, это разве были вы? — я постарался сделать как можно более наивное выражение лица.

Верзила уставился на меня, не зная, очевидно, как отвечать. Ответил, улыбаясь, Зенин:

— Не мы, не мы... Не думаете же Вы, что я бегаю по ночам по улице и режу шины? У нас и иже таких нет. Но тем не менее совершенно ясно, что вы готовы во всем помогать нашим врагам, а от содействия нам — отказываетесь. Кстати, в прошлый раз вы были предупреждены об обязательстве неразглашения нашего разговора. Вы о нем кому-нибудь говорили?

— Нет.

— Лжете! — рявкнул верзила. — Нам известно, что вы передали содержание этого разговора.

Мгновенно включился Зенин:

— Кто знал о том, что я приглашал вас сюда?

— Я не делал из этого секрета. Это было до вашего требования молчать, — я немного растерялся от взятого тона и темпа и пытался сообразить, что они имеют в виду.

— Кому же вы об этом говорили? Отвечайте быстрее, не пытайтесь тянуть, чтобы что-то скрыть!

— Не помню.

— Вспомните.

— А почему я, собственно говоря, должен вспоминать? — я уже снова взял себя в руки.

Последовавший затем разговор примерно в течение часа носил форму открытого шантажа и угроз. В основном, от меня требовали все то же: согласиться сотрудничать с КГБ в переписке с Александром Исаевичем. При этом верзила орал и хамил, а Зенин выступал в роли как бы миротворца. Третий молча записывал; одновременно крутился магнитофон.

— Вы напрасно теряете время, — сказал я, — до тех пор, пока я нахожусь в здравом уме, я не буду делать поступков, противоречащих моим морально-этическим убеждениям. Можете позвать сюда еще трех помощников, изрезать меня на куски и бросить в реку.

— Ну, ну, ну! Это вы уж хватили через край, — сказал Зенин. — Вы напрасно думаете, что необходимо звать помощников, а эти двое с вами не справятся.

— С ним-то?.. Да мне одному тут делать нечего! — верзила сстроил такую непередаваемо презрительную гримасу, что даже мне стало неловко за нанесенную ему обиду.

— Не будем мы вас резать на куски, — продолжал Зенин, — и иголки под ногти тоже загонять не будем. Если понадобится, то вы у нас через полчаса заговорите без всяких пыток. Но думаю, все это нам сейчас не надо. Я просто не понимаю, какая фанатизм удерживает вас от содействия нам.

— Фанатизм здесь ни при чем. Если хотите, то я по своим убеждениям больше фаталист и считаю, что если чему-то суждено случиться, то это и случится. Поэтому нет необходимости идти в жизни на компромисс со своей совестью.

— Это как же так? Значит, если вас будут бить, то вы даже не попытаетесь этого избежать, раз тому необходимо произойти? Это — не для человека ХХ века!

— Да это никакой не фатализм, это — анархизм какой-то! — проявил эрудицию верзила.

Я попытался объяснить:

— Если меня будут бить, то я буду сопротивляться: это не против моих убеждений. Кстати, один такой пример вам уже известен. Но если меня будут заставлять шантажом делать то, что я считаю подлостью, то я этого не сделаю. И если потом угрозы реализуются, то я буду считать, что так и должно было в моей жизни произойти.

— Глядите, философ! — жизнерадостно объявил верзила.

— Вы действительно интересуетесь философией? — спросил Зенин.

— Немного... Читал Канта... Гегеля... Ленина...

— Слыхали? В первую очередь — Канта, и лишь между прочим Ленина, — вставил верзила.

— Я перечислял не по важности, а по хронологии, — пояснил я.

— А почему помочь органам КГБ не согласуется с вашим мировоззрением? — спросил Зенин.

— Ну, если КГБ так нуждается в моем содействии, то, пожалуйста, я готов вам помочь, например, ловить шпионов. Это не против моей совести.

— Вот как? Все-таки кое-что... А вы умеете ловить шпионов?

— Раньше не пробовал. Но если это очень нужно, вы мне расскажете, как это делать. Я попробую.

— Хорошо, согласны на шпионов. Так вот помогите ловить нам политических шпионов.

— Этих не могу.

— А каких можете?

— Тех, которые надеются разузнать о советских ракетах и самолетах.

Мне было любопытно, как долго может продолжаться эта клоунада.

— В оборонной области у нас все заполнено. Так что от ваших услуг придется, к сожалению, отказаться. Кстати, почему вы не принесли нам свою рукопись?

— А почему я должен был это сделать?

— Но мы же так, кажется, договорились?

— Я вам этого не обещал.

— А мне кажется, что обещали. Так принесете?

— Зачем?

— Почитать.

— У меня ее нет.

— А где же она?

— Считайте, что я ее уничтожил. Переугадался после предыдущего разговора и сжег.

— Какая обида! Но пленочку изгото-вили?

— Какую пленочку?

— Фотопленочку рукописи. Вас, на-верно, Александр Исаевич этому научил. Он хорошо эту технику освоил. Просто, удобно, современно, легко перепрятать, передать...

— Нет у меня пленочки, а Александр Исаевич в свои технические секреты меня не посвящал.

— Так, так. Ни до чего мы с вами, видно, не договоримся. Можно было бы вас посадить: материала для этого достаточно.

— Ленинградское дело у нас ведь еще не закончено, — обращаясь к Зенину, вставил верзила.

— Вопрос только вот в чем: кем вы выйдете из лагеря.

— Думаю, кем-то вроде Солженицына.

— Ну, для этого еще нужно, чтобы Вам талант позволил.

— Я имел в виду содержание, а не форму. А потом, вы же не читали моих сочинений: может быть, вам они бы и понравились.

— Да я уж и так много чего читаю. Вот, например, последние номера «Хроники». Вы их уже видели? — Зенин внимательно посмотрел на меня.

— Я ни разу не видел ни первых, ни последних номеров.

— Напрасно. Хорошо пишут ребята. Я читал с удовольствием. Что же касается ваших сочинений, то теперь, если вам верить, надо ждать, пока вы напишете

новые. А это ни к чему ни вам, ни нам. Так что кончайте заниматься литературным творчеством: до добра это не доведет. Но все-таки расскажите, о чем вы писали в своих мемуарах.

— Это — моя биография последних лет.

— Ваша или Солженицына?

— Моя. Могу я ее писать?

— Свою — пожалуйста. Только Солженицына не трогайте. Вы о нем там упоминаете?

— Только когда необходимо что-то пояснить о событиях со мной. Например, при описании инцидента на даче или проводов его семьи из Москвы.

— Если так, то это еще ничего: ваша биография никому, кроме вас, не интересна. Это не сенсация. Ну, что же, пора заканчивать, — сказал Зенин и добавил, обращаясь к тем двоим, — вы пока можете быть свободны.

Те встали, собрали бумаги, сложили магнитофон и вышли, прихлопнув дверь.

Дальнейшая беседа происходила совсем в ином тоне.

— Вы уж не обижайтесь на них: такая у них служба. Да и смена идет не всегда такая, как бы хотелось. Я стремлюсь иметь вежливых, интеллигентных сотрудников, но, как вы убедились, не всегда мне это удается. В общем, мне было очень приятно и полезно поговорить с Вами лично. Лишний раз убеждаешься, как иногда превратно, намного хуже представляешь себе человека, знакомясь с ним заочно по документам. Я бы сейчас с удовольствием пожал вам руку и просил бы не поминать лихом. Но мне необходимо что-то доложить начальству, которое не всегда разделяет мои взгляды. Поэтому я вас очень прошу написать в любой удобной для вас форме бумагу, которую мы назовем по принятой у нас форме объяснением. Там нужно осветить три вопроса (поверьте, это нужно не мне): что вы не будете заниматься антиобщественной деятельностью, что не будете распространять свою рукопись (и краткое ее содержание) и, наконец, хотя бы что-нибудь о переписке с Солженицыным.

— Могу только пообещать, что если мне доведется писать, то писать буду только правду.

— Ну, хотя бы это. Лучше в такой форме: не буду писать антиобщественных измышлений. А я обещаю вам помочь с трудоустройством и с защитой диссертации. Это будет наш компромисс. Куда бы вы хотели устроиться работать?

— Я хочу вначале, чтобы меня восстановили на прежней работе, поскольку уволили меня незаконно. А потом я оттуда уйду сам.

— Вы подали в суд на восстановление в прежней должности?

— Да. Суд назначен на среду, 12 июня,

— Какой суд?

— Черемушкинского района.

Он все записал и сказал:

— Постараюсь все уладить. Предварительно, конечно, я должен представить своему начальству ваше объяснение, о котором мы говорили.

Надо сказать, что после предыдущих нескольких часов напряжения я вдруг «растаял» от нового, задушевного тона Зенина и написал ему такое излишне велеречивое «объяснение»-обязательство:

В КГБ при СМ СССР
от Горлова А. М.

ОБЪЯСНЕНИЕ

Настоящим обязуюсь не принимать участия в антиобщественной деятельности.

Свою автобиографию я обязуюсь не публиковать, не давать читать или распространять любым иным путем. В своих записях я касался вопросов, связанных с моими служебными и докторандскими делами, а также с фактом увольнения меня с работы. А. И. Солженицын упоминается в них в связи с инцидентом на даче в 1971 г. и проводами его семьи из Москвы в 1974 г.

Отвечая на письма А. И. Солженицына или членов его семьи (если такие будут), обязуюсь не допускать в них антиобщественных измышлений или искажения правды.

А. М. Горлов

Хоть и выжали из меня эту идиотскую бумагу, но написал я ее легко, считая, что ни в чем не грешу против совести.

На том, собственно, беседа и закончилась. Я, правда, зачем-то напомнил ему про еврейский вопрос, который его интересовал, чем еще на полчаса затянул разговор. Он очень долго мне объяснял, как волнует его эта проблема, и просил моих советов для ее решения. Я ему дал эти советы, но думаю, что они его не удовлетворили.

На прощание он сказал, что накануне суда позвонит и что нам еще нужно будет встретиться и поговорить по еврейскому вопросу. Но это уже после заграничной командировки, в которую он уезжает в ближайшее время дней на 20. И теперь встретимся не в КГБ, а где-нибудь в нейтральном месте. Если я не возражаю, он может прийти ко мне домой в гости. Я сказал, что тогда уж лучше я к нему, у меня нервная собака и, как теперь выяснилось, вся квартира прослушивается КГБ.

Потом он проводил меня на улицу и, улыбаясь, пожал руку. Я еще спросил:

— Нас сейчас снимают?

Он отшутился, и мы разошлись.

Накануне суда он не позвонил.

Суд, как уже известно, прошел без урока и задоринки и вынес вердикт: администрация была права, уволив меня, а потому — в моем иске отказать.

После суда я позвонил жене на работу.

Мне сказали:

— Ее нет на месте. Что-нибудь передать?

— Передайте, пожалуйста, что Михаил Александрович — феноменальный тренер.

— А она поймет, что к чему?

— Обязательно поймет.

Последние попытки удержаться

С каждым уходящим месяцем без работы мое положение становилось все более безнадежным. Ну, еще можно месяц-другой что-нибудь придумывать для отделов кадров, в которые я обращался, почему не работаю: больны родители, надо сыну помочь с поступлением в ВУЗ или еще что-нибудь в том же роде. Но больший срок неизбежно вызывает подозрения и последующее «расследование».

Надо было и семью кормить. Временами я подрабатывал по линии своего прошлого хобби: чинил автомобили, мебель. Иногда мне устраивали платные лекции по путевкам общества «Знание», членом которого я остался (туда почему-то слухи о моем криминале не дошли). Но уходящее время и отвлечение посторонними делами неизбежно приводили к потере профессионального уровня, с чем я смирился никак не мог.

И по приезде из Воркуты я не прекращал попыток получить работу, соответствующую моей квалификации.

Надо сказать, что в мое отсутствие, пока я был в Воркуте, обо мне неожиданную заботу проявили в КГБ. В июле на пресс-конференции, передававшейся по радио и телевидению многих стран мира, Александр Исаевич, говоря о преследованиях оставшихся в СССР его друзей, рассказал и обо мне. Вскоре после этого моя жена домой позвонили:

— Здравствуйте, товарищ Горлова. Говорит Зенин Михаил Александрович из КГБ. Я звонил Вам несколько раз, но ни Вас, ни Вашего мужа не мог застать дома. Как дела у мужа? Как с сыном? Вы, наверно, все время на даче?

Надо же, какая неосведомленность — ничего не знают: ни того, что я не в Москве, а в Воркуте (хотя оттуда я часто писал и звонил домой), ни того, что сын поступает в институт, а жена при нем и ей всегда можно позвонить на работу или вечером домой, ни того, наконец, что нет у нас никакой дачи. Да и Александр Исаевич на весь мир сообщил, что меня давно выгнали из работы и больше никуда

не берут. Хотя я ведь забыл: мне когда-то после драки на даче Александра Исаевича в Наро-Фоминской милиции объяснили, что они «зарубежных радиостанций не слушают и иностранных газет не читают».

— Муж работает на севере, а сын готовится к поступлению в ВУЗ, — ответила жена.

— Должен Вам сказать, — продолжал Зенин, — что Ваш муж поразительно упрямый человек: с ним ни до чего нельзя договориться. Что он собирается делать по возвращении?

— Будет искать работу.

— Я Вам оставлю свой телефон, и пусть он позвонит: мы поможем ему хорошо устроиться.

Я позвонил по оставленному телефону. Произошел такой разговор:

— Позвоните, пожалуйста, товарища Зенина.

— Здесь таких нет.

— Это КГБ?

— Что за идиотские шутки! — и бросили трубку.

Я в недоумении посмотрел на телефон, проверил записанный номер, набрал еще раз. Ответил тот же голос, и я продолжать не стал.

Честно говоря, я и не рассчитывал на помощь от КГБ, иначе где же логика: сначала выгнали с работы, а потом сами же и устраивают?

К этому времени я получил прямо (через отдел кадров) или косвенно (от выяснявших для меня коллег) отказы в приеме на работу из 12 институтов. Последним, уже в октябре, был отказ из института Гидроинженерный, куда я подал заявление после того, как прочел объявление, что требуется специалист именно моего профиля.

Но что же делать? Создавалось ощущение, что я живу в каком-то ином измерении: можешь кричать, размахивать руками, все равно никто тебя не услышит. А вокруг словно сплошная мягкая стена, в которой тонут и крики, и удары.

Передо мной все яснее вырисовывалась единственная возможность — эмиграция. Или меня к этому решению и подталкивали? Но ни я, ни моя семья не стремились к этому. Для нас это было бы насилиственным отчуждением от всего, с чем связана жизнь и память, и к такому решению мы не были подготовлены.

Я решил предпринять последнюю, «наглую» попытку.

Прочтя в газете объявление о том, что в строительном институте — МИСИ — объявлен конкурс на должность доцента кафедры «Сопротивление материалов», я отправил туда свои документы. К ним я, естественно, приложил и свою знаменитую характеристику (вернее, заверенную копию ее).

Конечно, я не мог серьезно рассчитывать на прохождение конкурса, значась в официальных документах другом Солженицына. Но я понимал, что рассматривать мои документы будет совсем не конкурсная комиссия, и надеялся, что, может быть, где-то «там» вдруг найдется хоть один разумный человек, который скажет: «Да оставьте вы его в покое. Он же нигде не выступает, пресс-конференций не устраивает, с иностранными корреспондентами не встречается. Так пусть себе тихо работает».

Но разумного не нашлось и «вдруг» не случилось. Вместо этого пришло по почте такое письмо:

«МИСИ им. В. В. Куйбышева сообщает, что присланные Вами документы не могут быть представлены к рассмотрению на конкурсной комиссии в связи с тем, что по существующему положению к участию в конкурсе принимаются документы (характеристика) в первом экземпляре и давностью не позже 4-х месяцев. Кроме того, Вы должны, по согласованию с заведующим кафедрой, прочитать две-три пробных лекции (телефон кафедры: 261-59-13, 261-39-12).

Мы просим сообщить причины, по которым Вы не работаете.

Зам. Председателя конкурсной комиссии

27.9.75 г.

Е. Шилов».

Что за чепуха! Если я все равно не могу участвовать в конкурсе, то зачем я должен читать пробные лекции? И для чего я должен сообщать о причинах, по которым не работаю?

А потом я узнал об одном курьезе, связанном с моим обращением в МИСИ, и почему письмо мне подписал не председатель конкурсной комиссии, а его заместитель. Оказалось, что фамилия председателя конкурсной комиссии — тоже Горлов. Говорят, что ему долго пришлось потом доказывать, что он вовсе не мой родственник и даже не однофамилец. Не знаю, поверили ли ему.

Я все же ответил на письмо из МИСИ, написав, в частности, что лишившись в апреле работы в своем институте, «...я уехал в Воркуту, где работал временно в качестве плотника. Учитывая многолетний кабинетный характер моей предыдущей деятельности, эту смену производственной обстановки я счел для себя вполне приемлемой. Вернувшись в Москву, я направил Вам свои документы на конкурс. Это положение сохраняется и по сей день.

7.X.1974 г.

А. Горлов».

Надо полагать, что мое письмо удовлетворило их любопытство, потому что никаких новых запросов из МИСИ не последовало. И вообще в этом деле ничего больше не последовало.

В это время надвигалось другое событие: предстоящее вручение А. И. Солженицыну в Стокгольме диплома Нобелевского лауреата и его выступление по поводу этого. Тогда еще никто не предполагал, что это выступление превратится в многочасовую пресс-конференцию с участием сотен корреспондентов из разных стран мира. Не знали и о чем Александр Исаевич будет говорить: может быть, и о положении своих друзей в СССР.

Наверно, все эти события как-то повлияли на занимающихся в КГБ «делом Солженицына», и меня вызвали туда в начале декабря.

Накануне позвонили:

— Здравствуйте, товарищ Горлов! Вы меня узнали? Это говорит Зенин Михаил Александрович. Не могли бы Вы приехать завтра ко мне в приемную КГБ в 2 часа дня?

— Зачем?

— Надо же что-то решать с Вашим устройством на работу. Я помогу Вам в этом.

— Хорошо, приеду.

Встретил и проводил меня в кабинет молодой, внешне приятный человек лет 30. Он сел за стол, предложил и мне кресло. Затем представился:

— Викторов Евгений Андреевич.

Викторов сказал, что Зенина не будет, он где-то на совещании. Тут же в кабинет вошел и сел высокий светловолосый мужчина лет 35. Его я где-то уже видел, но где — вспомнить смог не сразу. Он назывался: Гордеев. И тут я вспомнил: он приезжал за мной на работу три года назад после инцидента на даче А. И. и увез меня на допрос в КГБ. Тогда он выполнял роль сопровождающего, и мы с ним ни о чем не говорили. С тех пор он заметно погрузился и посолиднел: очевидно, вследствие успешного продвижения по службе.

Разговор повел Гордеев:

— Так, товарищ Горлов, давайте вместе подумаем, что же нам делать?

— А Вам уже нечего делать? — спросил я.

— Я хотел спросить, что Вы решили?

— О чём?

— О своей дальнейшей судьбе: хотите ли Вы быть честным советским человеком и трудиться в нашем обществе или решили уезжать? Если Вы хотите эмигрировать, то пожалуйста, получайте вызов и уезжайте. Мы Вам в этом всемерно поможем и никаких осложнений с выездом у Вас не будет.

— Во-первых, я не считаю себя бесчестным из-за того, что не могу найти работу. А во-вторых, я не хочу эмигрировать, а хочу жить и работать здесь. Вы же обещали мне помочь с работой? Или я неправильно понял товарища Зенина? Он

даже оставил какой-то мифический телефон, чтобы я спрашивался о работе.

— Дайте нам список учреждений, куда Вы обращались, и мы Вам поможем, — сказал Викторов. — А чтоб у Вас не оставалось сомнений в моей искренности, вот Вам мой телефон.

Я назвал 5 институтов, поставил первым МИСИ, он их аккуратно записал.

— Ну, а если бы Вы все-таки собрались эмигрировать, то в какую страну? — продолжал Гордеев.

— Пока это вопрос гипотетический. Но скорее всего в США или Англию.

— Должен сразу Вам сказать, что мы отпускаем людей только в Израиль: у нас такой сейчас порядок. Поэтому Вам, если Вы решите уезжать, нужно будет найти родственника именно в Израиле, получить от него приглашение.

— А если я сирота?

— Так не бывает, и родственники в Израиле при желании всегда найдутся.

— А если я поищу родственников в США или в Англии? И захочу их навестить временно, года на два?

— Эти не годятся и туда мы Вас не выпустим. Мы вот некоторым дали разрешение на временный отъезд, но это себя не оправдало. Например, Ростропович уехал, а теперь и он, и Галина Вишневская делают на Западе такие заявления, что назад мы их, наверно, уже не пустим. Кстати, жить там нашим эмигрантам очень плохо. Вот, например, Чалидзе недавно решил вернуться в СССР таким способом: нелегально забрался на корабль, отходящий к нам, и спрятался в трюме. Но мы умеем не только как сейчас вежливо беседовать: его быстро обнаружили и выдворили обратно.

Это была явная «развесистая клюква», и для чего он мне эту историю рассказал, я не понял. Может быть, в расчете на то, что я о ней буду рассказывать, и они смогут проследить, с кем яобщаюсь? Ведь новость-то действительно интригующе сенсационная и может разойтись мгновенно!

Разговор вскоре закончился. Викторов проводил меня назад по длинным коридорам мимо часовых в зеленой форме с голубыми оконышками и сказал, прощаюсь:

— Я позвоню Вам через неделю. Мы тут разберемся с Вашими делами и скажем, где Вы сможете получить работу. Вы мне тоже звоните.

Прошла назначеннная неделя, прошла и другая. Меня не осаждали страждущие работодатели, никто мне не звонил и из КГБ с предложениями о работе. Тогда решил позвонить им я:

— А, это Вы, товарищ Горлов? — ответил Викторов. — Не волнуйтесь, все в порядке: мы Вам подыскиваем работу. Я позвоню Вам в конце недели.

Но опять никто мне не звонил, и снова позвонил я.

— Да что Вы переживаете? Столько сидели без работы, а тут вдруг такая горячка! В этом году уже ничего не выйдет, позвоните мне в середине января будущего года.

Я, наконец, начал понимать, что все это — чудовищная идиотская мистификация, и единственное, что было реальным при разговоре в КГБ, что, наверно, и было целью того разговора, так это предложение уехать из СССР. Вспоминая весь разговор, я вдруг понял, что вращался-то он, в основном, вокруг идеи моего отъезда: куда нужно ехать, где искать «родственников» и что будет мне в этом «зеленая улица».

В напряженные и тяжелые дни начала года, когда арестовали и выслали Александра Исаевича, а потом уезжала его семья, друзья советовали мне тоже что-либо предпринять на случай необходимости отъезда из страны. Я был уверен, что пока не трогают Александра Исаевича, со мной тоже здесь ничего не произойдет, но после его высылки от КГБ можно было ждать чего угодно.

Когда в марте я провожал из Москвы семью Александра Исаевича, я попросил на этот случай найти мне «родственников» в Израиле, которые меня бы к себе пригласили. Вскоре я получил из Израиля необходимый вызов. И даже не один.

И вот сейчас, со всех сторон блокированный, без денег и уже без всяких надежд на получение работы, с растущей тревогой за судьбу сына, я начал приходить к мысли о неотвратимости эмиграции. Но прежде, чем окончательно остановиться на этом, я решил связаться с некоторыми зарубежными коллегами и отправил в Англию и США два письма:

Глубокоуважаемый профессор

Зная Вас по научным трудам, я хочу обратиться к Вам по следующему вопросу.

На протяжении многих лет я работал над проблемой расчета и проектирования фундаментальных плит и систем перекрестных балок, а также других фундаментных конструкций. Имею около 50 опубликованных научных работ. Я кандидат технических наук, написал докторскую диссертацию.

Но из-за моей дружбы и поддержки писателя Солженицына моя научная и служебная карьера была сломана официальными властями. Мне не разрешили защитить докторскую диссертацию, а в начале 1974 года уволили из института. Одновременно мне выдали такую характеристику, с которой в СССР я уже не могу получить работу (я эту характеристику посыпал Вам для ознакомления).

В связи с этим я рассматриваю возможность эмиграции из СССР, в частности, в Вашу страну. Но прежде, чем

принять такое решение, мне бы хотелось знать о возможности получения работы по специальности в Вашей стране.

Я буду Вам очень признателен, если Вы сочтете возможным сообщить мне какую-либо информацию по этому вопросу.

С искренним уважением

А. Горлов

P. S. Это письмо я направляю не официальной почтой, а с попутчиком.

Письма я отдал одному знакомому, который в свою очередь передал их для отправки уезжавшему из СССР иностранцу.

Прошел январь. Ничто в моем положении не менялось. Ответов от зарубежных коллег я на свои письма не получил.

В начале февраля я направился в ОВИР, предъявил свой вызов из Израиля и спросил, какие документы для эмиграции я должен представить. Оказалось, что на семью из 3 человек около 45 разных бумаг. В том числе и характеристику с работы.

— Но я уже давно не работаю.

— Неважно, пока не прошел год со времени Вашего увольнения, Вы должны получить характеристику с прежней работы.

— А Вы считаете, что без этой характеристики меня в Израиле могут не принять?

— У нас такой порядок.

Ну, что ж, порядок — так порядок. Придется играть в глупую игру, правила которой не мной придуманы.

Недели две ушло на сбор документов. Получил я и характеристику на работе. Правда, прежде, чем дать ее, начальник отдела кадров Костромин попросил мой израильский вызов, сообщив, что директор и партбюро хотят на него посмотреть.

Однако вскоре я почувствовал, что опять происходит что-то неладное вокруг меня.

В ОВИРе, куда я пришел 19 февраля, у меня документы не приняли.

— У Вас характеристика не по форме. Пусть Вам ее переделяют.

Позвонил на работу Костромину, но что-либо переделывать в характеристике он наотрез отказался. Образовался круг, и чувствовалось, что это не случайно.

Дело стало проясняться на другой день после посещения ОВИРа. Мне позвонил из КГБ Гордеев:

— Так вот, товарищ Горлов, вопреки нашим предупреждениям Вы все-таки пошли на уголовное преступление, наказуемое по статье 190 «прим» («антисоветская агитация», наказание — до 3 лет тюрьмы. — А. Г.), и мы передаем на Вас дело в прокуратуру.

Я стоял у телефона, и до меня как-то не сразу доходил смысл сказанного.

— Но прежде, чем принимать окончательное решение, я бы хотел еще раз с Вами побеседовать. За Вами прислать или Вы приедете сами?

— А что за преступление, которое я совершил, и что это за статья 190 «прим»?

— Насчет статьи проконсультируйтесь у юристов, а о преступлении Вы прекрасно знаете: Вы пытались забросить за границу антисоветские материалы. Так, еще раз спрашиваю, приедете сами?

— Хорошо, приду. Когда?

— Сегодня в два часа.

В кабинете Гордеева, куда меня провели, кроме него самого, сидел еще один незнакомый мужчина в штатском. На краю стола лежала большая стопа (страниц на 400—500) каких-то сброшюрованных тетрадей и просто машиноисписных листов.

Поверх всей этой груды бумаг лежали и оба надписанных мною конверта с письмами иностранным ученым.

— Ну что ж, товарищ Горлов, надеюсь, Вам все понятно? — начал Гордеев после небольшой паузы, дав мне возможность удостовериться в реальности существования моих писем у него на столе.

— Пока еще ничего не понятно, — сказал я.

— Хорошо, объясню. Вот все это, — он начал перекладывать бумаги, — Ваши письма («Не отрицаете?» — «Нет, конечно»), «Хроники» литовских националистов № 1, 2, 3, 4, антисоветские стихи («Не Ваши?» — «Я писал стихи только в 15 лет»), антисоветские статьи, обращения... — он продолжал перечислять, но мне уже все было ясно и я свою линию поведения определил: ...все эти материалы обнаружены при обыске на границе у иностранного гражданина, пытавшегося нелегально их привезти. Гражданин этот арестован, ведется следствие. Вот акт обыска. Поскольку только в Ваших письмах значится авторство, у нас есть основания полагать, что это Вы организовали переброску всей этой антисоветской литературы. Сейчас мы это дело передаем следственным органам. Для приобщения к делу от Вас требуется объяснение. Напишите подробно, с кем, где и когда встречались, назовите явки (!), как передавали. Кстати, сообщаю, что у нас есть отснятый фильм этой процедуры и мы сможем его Вам показать.

Я взял лист и написал несколько фраз: что действительно отправил коллегам за границу два письма, спрашивая о работе. Отправил с эмигрировавшим недавно в Израиль евреем. Написал, что ко всему остальному из предъявленного мне никакого отношения не имею и как это все соединилось с моими письмами — не знаю.

Гордеев прочел мое объяснение и сказал:

— Вы должны еще дать оценку своему поступку.

— А что я могу сказать? Мне искренне жаль, что мои письма не дошли до адресатов.

— А Вам не кажется, что Вам следовало бы наконец как-то изменить свою позицию и в чем-то помочь нам? Тогда и мы можем стать во многом Вам полезны: и с работой, и с диссертацией, и, если захотите, с отъездом.

— Я уже говорил, что считаю свою позицию правильной. И сознание своей правоты не позволяет мне идти на компромиссы с моей совестью,— разговор начал скатываться в знакомую плоскость...

Беседа еще сколько-то времени продолжалась. Меня опять пугали статьей 190 «прим», которая, оказывается, близка к статье 70 (а там — до 7 лет). Но ничего принципиально нового уже сказано не было.

Наконец Гордеев сказал:

— Ну, хорошо. Сейчас мы все эти материалы передаем на экспертизу, которая должна установить следующие факты: принадлежат ли Вам все эти материалы, или Ваши — только эти два письма, а также имеется ли антисоветское содержание в самих Ваших письмах. Кроме того, нам нужно установить в процессе допроса «курьера», действительно ли он с Вами не встречался. На это потребуетсяся приблизительно неделя. Нужно ли брать с Вас на это время подпись о невыезде из Москвы или можно поверить Вам на слово?

— Я никуда не собирался уезжать.

— Прекрасно, тогда все. Напоследок прошу Вас еще раз подумать о серьезности Вашего положения, и, если решите что-либо сообщить мне дополнительно, звоните.

Я им действительно звонил в тот же день, сообщив дату отъезда того еврея, с которым «передал» письма. А через час у меня отключился телефон и два дня безмолвствовал. Потом так же неожиданно включился.

Неделя прошла без звонков и происшествий, но внутреннее напряжение у меня и у моих близких не спадало. Учитывая возможность обыска, я уничтожил все бумаги, которые могли меня как-то compromетировать. И лишь большой портрет Солженицына с дарственной надписью продолжал по-прежнему висеть на видном месте.

Технология изгнания

Не знаю почему, но в КГБ решили, очевидно, меня из страны выкинуть: иначе невозможно объяснить ту глухую блокаду, которую мне устроили как с получением работы, так и с какой-либо иной

возможностью научной деятельности. В частности, безработный в СССР не может публиковать свои научные статьи, так как журналы требуют акт служебной экспертизы.

Вначале я пытался сопротивляться этому, искал работу, съездил на время в Воркуту. Но через полгода понял бессмысленность борьбы: уж очень разные у нас весовые категории — я и КГБ. Пока дело касалось моей совести и человеческого достоинства, где вообще-то я сам себе хозяин, то здесь я был убежден, что выстою (естественно, если смогу сознательно контролировать свои поступки). Но что я могу, когда обращаюсь к своим же гонителям с просьбой о работе и нормальной жизни? Если бы я смог сказать им, что мне от них ничего не надо! Но это сделать у нас в стране невозможно: легально оплачиваемую работу и с нею статус полноправного гражданина общества можно получить только от государства!

Когда решение покинуть Россию сформировалось, встал вопрос: как это сделать?

Я уже писал, что получил на этот счет подробное разъяснение в КГБ: найдите родственника в Израиле, попросите прислатить вызов, и мы Вас сразу же отпустим в качестве эмигранта: по-другому мы людей из СССР не отпускаем. (Вспоминается в связи с этим ходившая по Москве шутка: еврейская жена — не роскошь, а средство передвижения. Это высказывание связывали с известным советским музыкантом, руководителем очень популярного в Москве ансамбля «Мадrigal», который смог уехать из СССР, предварительно женившись на еврейке.)

Но когда я, получив вызов от «родственника» (как оказалось — «родственницы»), стал готовить документы для ОВИРа, то столкнулся с поразительными для меня фактами, о которых хочу рассказать.

Прежде всего — это фантастическая гора разных бумаг и справок, которые мне нужно было собрать, изготовить и представить в ОВИР (16–20 на одного отезжающего человека!).

Проще всего было написать автобиографию, которая у меня получилась такой:

«Я, Горлов А. М., родился 23 марта 1931 года в Москве в семье служащего.

Мой отец в 1938 году был репрессирован по ложному обвинению. Реабилитирован посмертно в 1956 году.

Моя мать переехала со мной к родным в Ленинград, где мы жили вместе до 1941 года. В начале войны я был эвакуирован в Кировскую область, где находился до конца войны в детском доме. С 1945 года я снова жил с матерью, которая после войны уехала из Ленинграда, похоронив там погибших в блокаду почти

всех родных. С 1972 года мать живет со мной в Москве, пенсионер.

В 1954 году я окончил МИИТ, факультет „Мосты и тоннели“. По окончании института работал в Удмуртской АССР мастером мостопоезда 59, затем, с 1956 года — прорабом в Курске. С 1961 года работал в Москве главным специалистом института ЦНИПИАСС (бывш. Гипротиц).

В апреле 1974 года, в связи с обвинением в дружбе с А. И. Солженицыным, я был изгнан с работы и в дальнейшем устроиться на работу по специальности больше не смог.

В 1961 году защитил кандидатскую диссертацию, в 1971 году представил к защите в НИИ оснований докторскую диссертацию (она по той же причине к защите не допущена). Имею монографию и 50 научных трудов, за которые награжден Золотой и двумя Бронзовыми медалями ВДНХ.

Женат, имею сына, 1959 года рождения».

Потом я сел заполнять специальную «заявление-анкету», вверху которой написано, что это — «приложение № 1». В анкете названо 22 пункта, по порядку которых я должен был сообщить все о себе: возраст, национальность, пол, гражданство, семейное положение, партийность (а если беспартийный, то не выговаряли ли меня оттуда и за что), судили ли меня за что-нибудь и когда, был ли я за границей (и с какой целью, а если не был, но только хотел туда съездить, то объяснить, кто и почему не разрешил), воинское звание (его у нас имеют почти все окончившие вуз), какую получаю зарплату (меня это уже не касалось), где работал последние пять лет, избирался ли в органы советской власти (туда, за уникальным исключением, евреев не «избирают» уже давно), перечислить правительственные награды, куда и почему я собрался уезжать и (вот номер!) по какому адресу намерен жить за границей (в СССР при переезде в домовой книге пишут: «выписан по адресу...»), когда и через какой пограничный пункт хочу ехать (тут бы, уже если дошло до этого, как-нибудь и поскорее), все о своем паспорте (где, когда и почему мне его выдали), а также (это специальный пункт), что желаю еще (уже сверх анкеты) сообщить о себе, своих близких и по существу ходатайства. (Один из моих знакомых, уезжавших из СССР, вписал в этот пункт, что просит сохранить ему советское гражданство. В результате гражданство ему, естественно, не сохранили, но зато на несколько месяцев затянули решение: наверно, пытались понять, что это еще за умник такой нашелся.) И еще

очень интересное (это, возможно, из-за игривости характера сочинителей анкеты, пункт 13) — перечислить всех своих живых и мертвых родственников (жена, отец, мать, дети, сестры, братья), где бы они ни были (в СССР или за границей), и все про них рассказать (кто такие, где родились, живут, работают или похоронены и так далее).

Когда я, все, как мне казалось, правильно заполнил, привез анкету в ОВИР, то оказалось, что, кроме всего перечисленного, я должен был написать еще и все о своей «родственнице» в Израиле:

— Но я про нее мало что знаю! Мы с ней никогда не встречались!

— Все равно что-то надо в анкете про нее указать. Кто она Вам?

Мы с женой переглянулись, она сказала:

— Тетя.

— Так и пишите. А также, что за тетя.

Я вписал в анкету: двоюродная сестра умершего отца.

— Где она родилась?

— Там же, в Израиле.

— Так и пишите. А также напишите, как и в связи с чем Вы ее разыскали.

Тут мне в самый раз было бы написать: по рекомендации КГБ. Но раз уж я начал играть в эту игру, то приходилось подчиняться и ее правилам. И я лично сообщил, что это не я, а тетя меня разыскала 10 лет назад, что тогда мы с ней наладили переписку, и вот она теперь скучает и зовет меня с семьей к себе...

Далее я должен был бы сообщить все о своих родителях, а также получить от них официальное разрешение на свой отъезд.

Для сдачи собранных уже документов в ОВИР пришлось еще уплатить по 40 рублей обязательной госпошлины за каждого человека: эти деньги во всех случаях «проплачиваются» и их не возвращают даже при отказе. Если же выезд разрешается, то нужно уплатить еще по 860 рублей за человека. Из какого расчета никто не знает: Гитлер вроде бы ввел эту моду и требовал в какой-то период передвойной по 1000 долларов за голову каждого отпускаемого им еврея. Но это в нашем XX веке, а вообще-то эта тактика выкупа известна с тех времен, когда одна слезящая с дерева обезьяна захватила в полон другую.

Но 900 рублей — это еще ничего. Совсем недавно уезжающие должны были платить совершенно астрономические по советским масштабам суммы, исчисляемые тысячами и десятками тысяч рублей, за так называемые затраты «на образование». Это положение не отменено, а только приостановлено и может быть возвращено к жизни в любой момент. Кроме того, можно еще придумать налог за съеденный хлеб или выпитый чай...

Любопытно, что ни один документ — дипломы инженера, ученого, трудовую книжку, водительские права, даже школьный аттестат зрелости — вывозить из СССР не разрешается. Можно брать только копии этих документов, которые специальным образом заверяются единственным в Москве нотариусом по фамилии Гозин Иван Иванович. Но и его подпись должна быть потом удостоверена в министерстве юстиции! Весь этот странный процесс называется почему-то «легализацией» документов. Вроде как до отъезда за границу мы все владеем своими документами нелегально и подпольно! Вот такие «легализованные» копии можно с собой взять, а сами документы — или выбросить в мусор, или оставить на память родственникам.

Вообще же, если затронуть эту тему: что можно, а что нельзя уезжающему из СССР, то здесь есть обширнейшее поле для интересных наблюдений.

Например, нельзя просто так повезти принадлежащую Вам картину: ее должна сначала посмотреть специальная комиссия, заседающая в Третьяковской галерее, разрешить вывезти (или не разрешить, тогда совсем все просто), оценить в рублях, после чего Вы уплачиваете в кассу назначенную цену и только тогда получаете право картину вывезти. Даже если Вы эту картину сами нарисовали, но она признана комиссией произведением искусства. И даже если Вы ее до этого продать никому не могли!

Нельзя везти ничего, что стоит дороже 250 рублей. Например, серьги или кольцо. Можно, наверно, это проглотить или еще как-то запрятать, но на таможне Вы рискуете подвергнуться рентгеновскому просвечиванию или обследованию в гинекологическом кресле. Конечно же, такие понятия, как семейные реликвии или памятные подарки здесь в расчет не берутся.

Нельзя взять с собой мебель, если Вы пользовались ею меньше года: она должна быть обязательно не новой. Но и станинную нельзя!

Нельзя без специального разрешения экспертов Ленинской библиотеки везти с собой книги, изданные до 1945 года. Возможно, что это не касается трудов Ленина, Сталина или Мао Цзе-дуна, но их, по-моему, никто еще не вез.

Нельзя забрать свои архивы, рукописи. Даже собственную диссертацию!..

Ну и конечно же (даже как-то непринято и упоминать об этом) нельзя забирать с собой свои собственные сбережения. Даже облигации прошлых обязательных займов, по которым граждане обязаны были отдать часть своих денег «в долг» государству. Пустые карманы — первый признак, по которому в первые дни, наверно, можно отличить за границей советского эмигранта.

Нельзя... нельзя... нельзя...

И через сколько неоправданных, уничижительных процедур должен пройти вынужденный (и, главное, получивший на то разрешение) эмигрировать из СССР человек, увозя в душе обиды и горькую память об обществе, в котором много лет жил и работал. Я много раз спрашивал себя и чиновников: почему все это делается именно так? Чиновничий ответ (если отвечали, конечно) всегда был стереотипным: у нас такая инструкция. Тут уж крить нечего: инструкция — это нечто вне нас, почти божественное! Один раз только ответили не тривиально: дай тут вам волю, так ой-ой-ой, что будет!

А наверно, все-таки по двум причинам: глупости и мстительности. Другого и не придумаешь.

Дело моего отъезда из СССР с места не сдвинулось, хотя прошло уже 2 месяца со времени подачи мною документов в ОВИР. Говорят, что ничего необычного в этом нет, так как нормальный срок рассмотрения таких прошений — до 4-х месяцев. Но в том-то и дело, что все у меня шло не по обычному пути, а меня к этому шагу подталкивали в КГБ. А потом передумали — так, что ли?

Во время моей последней беседы с работниками КГБ в феврале (когда они перехватили мои письма западным ученым) уже перед концом Гордеев сказал:

— Ну, хорошо. Если после проверки Вашего объяснения по поводу писем мы не сочтем необходимым передать дело в прокуратуру, то задерживать Вас в СССР никто не станет. Обещаю, что в таком случае Вы получите разрешение на отъезд через 2—3 недели после сдачи документов в ОВИР. Можете начинать пока упаковывать вещи. Советую заранее съездить в таможню и узнать, что и как можно перевозить с собою через границу. Вам нужно будет платить за образование?

— Полагаю, что это Вам виднее. Могу только сказать, что если с меня потребуют эти десятки тысяч рублей, то никуда я, конечно, не поеду: даже продав все до нижнего белья, я не наберу таких денег. Если бы мог набрать, то жил бы и здесь неплохо, даже безработным.

— Будет еще одно обстоятельство при Вашем отъезде,— Гордеев, к моему удивлению, стал говорить об этом как уже о решенном деле,— я хочу после того, как Вы получите разрешение на выезд, лично прийти к Вам домой и посмотреть рукописи, которые Вы захотите взять с собою. Вы не будете возражать?

— Пожалуйста, приходите. (А что мне было еще сказать — ни в коем случае?)

А потом, дня через три после принятия моих документов в ОВИРе (надо полагать, что в КГБ проверка моего объяснен-

ния закончилась для меня положитель-
но), мне домой опять позвонили:

— Товарищ Горлов? Здравствуйте, это
говорит Викторов из КГБ. Как у Вас дела
с ОВИРом? Они документы приняли?

— Да, приняли.

— И что при этом сказали?

— Рекомендовали спрашивать не
раньше, как через полтора месяца: у них,
сказали, такой срок рассмотрения.

— Полтора месяца? Ну, в этом нет
никакой необходимости. Да и Вам, на-
верно, ни к чему так долго ждать. Давайте
ускорим?

— Конечно, хорошо бы.

— Тогда договорились: ускорим, как
и обещали. Можете укладываться.

Хорош бы я был, если бы послушался
этого совета! Так и жили бы все эти меся-
цы, как на вокзале,— среди чемоданов.

Время шло, никаких вестей из ОВИРа
не поступало. И я еще раз убедился, что
обещания, которые получаешь в КГБ, стоят
яго гроша в базарный день.

Поразительное дело! Для чего они во-
обще в чем-то заверяют, если заранее
знают, что все их слова не имеют абсо-
лютно никакого значения? Ведь они могут
чи и всесильны и могут просто ничего не
обещать. Кому нужны эти посулы, если
их вовсе никто не собирается выполнять?
Чувствуешь себя полнейшим идиотом,
когда тебе долго сообщают нечто, из чего
нельзя делать никаких выводов. И не
слушать не разрешают!

На протяжении этого года мне много
раз обещали в КГБ помочь устроиться
с работой (плохо выразился: обещали в
КГБ, а работать, конечно, в другом месте,
по своей специальности). Сначала Зенин.
Потом Викторов: об этом я подробно пи-
сал в главе «Последние попытки». Но
здесь хочу вспомнить одну любопытную
деталь из тогдашнего разговора с Викто-
ровым и Гордеевым в той же приемной
КГБ в ноябре 1974 года.

— А почему Вы считаете, что КГБ
должен (или должно) — я так и не знаю,
как правильнее.— А. Г.) Вам в чем-то еще
и помочь? — вдруг сказал Гордеев.—
Вы нам в свое время напакостили и хоти-
те, чтобы мы же Вам просто так, ни за что
помогали. Ведь сами-то Вы нам в чем-
либо помочь упрямо отказываетесь.

— Я напакостил Вам? Когда? — Он
еще не почувствовал, куда я клоню. И по-
пался.

— В том инциденте на даче.

— Но ведь меня заверили, что работни-
ки КГБ там не участвовали. Как же я мог
напакостить, как Вы выражаетесь, имен-
но Вам?

Наступила пауза, а потом вдруг с го-
рячностью заговорил Викторов:

— А Вам разве кто-нибудь говорил про
КГБ в той истории? Какие у Вас основа-
ния так заявлять?

— Конечно, никаких. Так я и не говори-
л про КГБ: это сказал товарищ Гор-
деев.

Тогда впервые в КГБ мне открыто
сказали, как они расценивают мой да-
вешний поступок, я им, оказывается, «на-
пакостил». И срок давности для этой
«обиды» тоже не существует. Поэтому
мне-то теперь они могут «пакостить» как
угодно долго. Поистине государственный
подход к делу!

Сегодня 30 мая — прошел четвертый
месяц, как подал документы в ОВИР. Все
без изменений, как и было.

ОВИР

«Пришла беда — отворяй ворота» —
старая мудрая пословица.

Мы с женой очень боялись, чтобы в этот
напряженный и тревожный период наши
житейские невзгоды не оказались на здо-
ровье стариков-родителей, у которых мы
были единственными детьми: у нас на по-
печении были мои мать с тетей, и женины
отец с матерью. Всем им было уже за
семьдесят и у них никого из близких,
кроме нас, не осталось. Долгое время нам
удавалось скрывать от них наши неуряди-
цы, но, после того как меня выгнали
с работы, пришлось все им рассказать.

Страх и возраст взяли свое.

Сначала очень тяжело заболела моя
мать: весной прошлого года, в самый
трудный момент моей отчаянной «драки»
с институтской и райкомовской админи-
страцией, у нее случился инсульт, и она
на несколько месяцев слегла в больницу.
Выздоровление ее шло тяжело, медленно,
и мне приходилось много времени провод-
ить у ее постели. Она «выкарабкалась»
и осенью прошлого года постепенно вер-
нулась к нормальной жизни.

А в марте этого года, после того как мы
уже сдали документы в ОВИР, заболела
мать жены. Болезнь ее нарастала ката-
строфически быстро. Вначале просто бо-
лела голова, потом начались непрерывные
рвоты. В апреле она уже не поднималась
с постели, а в конце мая перестала дви-
гаться и говорить. Мы сбились с ног,
непрерывно возя к ней разных врачей
и делая рентгеновские снимки. Но все
врачи ставили разные диагнозы, а снимки
ничего страшного не показывали. В нача-
ле июня мы отвезли ее в больницу.

И буквально на другой же день мне
позвонили из ОВИРа.

— Товарищ Горлов? С Вами говорит
инспектор Сивец (голос был женским:
отмечаю это из-за родовой неопределенности
фамилии). Сообщую Вам, что
ОВИРом принято положительное реше-
ние по Вашему заявлению, и Ваша семья
может уезжать из СССР.

Я слушал не прерывая и пытаясь сосре-
доточиться после моментного шока, чтобы

найти правильную форму для дальнейшего разговора. Естественно, что при сложившейся в нашей семье обстановке ни о каком отъезде в данный момент не могло быть и речи: тещу в таком состоянии невозможно было ни везти с собой, ни оставить. Трудно предположить, чтобы в ОВИРе об этом не знали: мой телефон, как легко догадаться, прослушивается (да мне и в КГБ сказали об этом почти что прямо еще на первом вызове), а все нюансы наших семейных дел подробно обсуждались с родными и врачами по телефону. Так что же это тогда? Подождали, пока сложится безвыходная ситуация, и решили гнать?

Сивец продолжала:

— Я прошу только для окончательного оформления выездных документов принести срочно фотографии жены и сына по требуемой форме размером 4×6 см в фас.

— Но ведь в деле есть такие фотографии, мы их сдавали.

— Те не годятся. Вы подавали заявление, когда сыну было еще 15 лет и он считался несовершеннолетним. Поэтому на него отдельно виза не должна была оформляться и на имеющихся в деле фотографиях он снят вместе с матерью. За это время ему исполнилось 16 лет, и теперь мы оформляем визы раздельно на всех членов Вашей семьи, для чего и требуются дополнительные раздельные фотографии сына и жены. А также в дальнейшем дополнительная оплата в сумме 900 рублей за сына.

— Как скоро я должен представить фотографии?

— Не позднее, чем через 2–3 дня, после чего мы дадим Вам еще 3 недели на сборы.

Получалось, что мы должны уезжать до 30 июня. Я решил пока ничего с Сивец не обсуждать, а сказал только:

— Но ведь в фотоателье очередь, и они могут не сделать так быстро, как Вы требуете.

— Обратитесь в срочное фото, где делают в тот же день. Когда принесете фотографии, попросите дежурного милиционера вызвать меня к Вам: я нахожусь на втором этаже, куда вход посетителям запрещен. Или позвоните по телефону: 295-69-87.

На этом разговор окончился.

Вечером мы с женой долго обсуждали положение, совершенно не представляя себе, что же делать. Решили пока сделать фотографии, а там — посмотрим.

В фотоателье у гостиницы «Метрополь», где делают фотографии для выездных документов, нам сказали, что они будут готовы только через 2–3 недели. Мы, естественно, не спорили.

Я в ОВИР не звонил, но через три дня мне снова позвонила Сивец:

— Товарищ Горлов, где же фотографии?

— Я ничего не могу поделать, они будут готовы только 24 июня.

— Ни в коем случае! Принесите тогда сейчас же какие есть.

Я не понял:

— Что принести?

— Любые фотографии жены и сына из семейного архива.

— Но они же не будут отвечать требуемым стандартам для виз.

— Неважно, принесите, какие найдете, но только в фас.

Все, что мы сумели подобрать, так это маленькие фотографии сына, снятые, кажется, для шахматной секции, и жены в каком-то парке у фонтана. На всех других они были сняты либо на пляже, либо в компаниях друзей.

Эти фотографии я и понес на другой день к Сивец. Она действительно находилась за дверью с надписью «Вход воспрещен» и вышла ко мне, когда ее позвали. Фотографию сына она взяла, а от фотографии жены отказалась, сказав, что лучше попробует «отрезать ей голову со старой фотографии, где она снята с сыном». Но все равно попросила принести другие, когда они будут готовы.

Одновременно я протянул ей заявление жены с просьбой отсрочить ее отъезд из-за болезни матери на три месяца.

— Только для жены? А вы с сыном как же?

— Мы поедем.

— Заявление я возьму, хотя полагаю, что срок изменен не будет: у нас это не делают. На всякий случай принесите еще справку из больницы.

На другой день жена сказали в больнице, что предполагают у матери опухоль мозга, против которой они сделать ничего не могут. Поэтому, хотя положение и безнадежно, но неизвестно, сколько еще может тянуться болезнь, и они просят забрать мать домой. Стало ясно, что теперь я тоже уезжать не могу, оставляя жену с умирающей матерью и совершенно беспомощным стариком отцом.

28 июня, в пятницу, мы с женой приехали в ОВИР с новыми фотографиями, справкой из больницы и теперь уже моим заявлением об отсрочке отъезда на месяц. Я, как и раньше, приоткрыл на втором этаже дверь с надписью «Вход воспрещен», никого не увидел и вошел внутрь, чтобы попросить кого-нибудь вызвать Сивец. По коридору шла высокая пышная женщина, к которой я и обратился с этой просьбой. Она внимательно оглядела меня и вдруг спросила:

— Вы умеете читать по-русски?

Я обалдело уставился на нее, не понимая.

— Еще раз спрашиваю: Вы читать по-русски можете?

И тут только я сообразил, что совершил ужасное преступление, самовольно преступив врата, закрытые для простых смертных. Возмущение от ее хамского тона на момент забило другие чувства:

— Я-то читать по-русски умею, а вот Вы не умеете говорить по-русски!

Она захлебнулась от негодования, и на меня обрушился поток каких-то бранных выкриков с требованием немедленно убраться за дверь. Сивец она, конечно, не позвала, и мне пришлось просить об этом кого-то другого.

— Вашей жене виза, как она и просила, продлена на 3 месяца, — сказала Сивец, — а Вам с сыном установлен срок отъезда 10 дней: 8 июля. Получите визы у инспектора в 22-й комнате.

Я протянул свое заявление с просьбой об отсрочке на месяц.

— Это бесполезно. Говорю Вам официально, что виза продлена не будет: вопрос решен окончательно.

— Но я не могу сейчас уезжать, и если мне визу не продлят, то я ее просто не буду брать. Я настаиваю, чтобы это мое заявление было рассмотрено.

— Дело Ваше, можете не брать. Но тогда повторная Ваша просьба об отъезде будет рассматриваться не раньше, чем через год. А заявление сдавайте в комнату 22: оно все равно попадет ко мне.

— Как я смогу узнать о решении?

— Позвоните мне через два дня, в понедельник утром. Но повторю, ответ будет тот же.

Я спустился на первый этаж и занял очередь к инспектору в 22-ю комнату. Легко представить мои чувства, когда я, прождев около часа, попал, наконец, в эту комнату и увидел за столом... свою давешнюю представительную знакомую, интересовавшуюся моим знанием русского языка! Некоторое время мы молча смотрели друг на друга, потом произошел приблизительно такой разговор:

— Заявление об отсрочке визы? Да Вы что? Я даже брать его у Вас не буду! — она явно наслаждалась своим торжеством и моей беспомощностью.

— Но инспектор Сивец сказала, чтобы я его отдал Вам.

— При чем здесь Сивец? Действующие визы не продлеваются, и извольте уезжать до 8 июля. Никакого заявления я не возьму. А теперь освободите кабинет: я ухожу на совещание, — она чуть ли не бегом направилась к двери, приглашая меня выметаться.

Я вышел, постоял в коридоре, а потом попросил какую-то пробегавшую девушку передать мое заявление Сивец. Она взяла.

В понедельник утром, как мне и велела Сивец, я позвонил ей по оставленному телефону. Трубку взяла незнакомая женщина:

— Сивец? Она уехала в командировку.

— Но что же мне делать? Я оставил заявление о продлении визы, и Сивец велела сегодня позвонить. Виза кончается через несколько дней...

Недолгое молчание, а потом:

— Гражданин, Вы русский язык понимаете?

Ну надо же: опять! Почему работников ОВИРа так волниуют мои знания именно русского языка? Или у них это такой стиль работы с отъезжающими?

— Я понимаю русский, но, может быть, Вы мне все же скажете, к кому мне хотя бы обратиться?

— Звоните по телефону: 294-02-60, — и бросила трубку.

Я звонил по этому телефону весь день, но там никто не отвечал.

На другой день утром я снова позвонил по телефону, данному мне Сивец. Трубку сняла другая женщина. Учитывая опыт вчерашней беседы, я сказал:

— Простите, пожалуйста, я не знаю, с кем говорю, но прошу мне как-то помочь. Я оставил инспектору Сивец свое заявление о продлении визы на выезд, и она просила меня позвонить, чтобы узнать результат. Моя фамилия Горлов.

В ответ услышал:

— Сивец больна и будет в конце недели (нечто новое. — А. Г.). Если она позвонит — а она должна позвонить, — я спрошу у нее о Вашем деле. Позвоните мне послезавтра к концу дня по этому телефону. Моя фамилия — Кошелева.

Наконец-то человеческая речь, а не медвежье рыканье. Надо признать, что и Сивец всегда разговаривала со мной вполне сдержанно и корректно.

Через два дня, когда я позвонил Кошелевой, она мне сообщила следующее:

— Ваше заявление рассмотрено и по нему принято такое решение: визы на всех членов Вашей семьи готовы и лежат у нас. Когда Вы закончите все Ваши дела, то в удобное для Вас время можете прийти и получить их для оформления отъезда. Сейчас мы Вас не торопим.

И добавила еще:

— Мы же тоже люди и все понимаем. Я не верил своим ушам: такой переход после заявлений о невозможности продления и после выяснения моих знаний русского языка! Но в «тайны Мадридского двора» не проникнешь, и остается только строить предположения...

Была одна странность в действиях ОВИРа, над которой я иногда задумывался, но не придавал ей большого значения: я не получил никакого официального уведомления о разрешении выезда. Обычно в этом случае ОВИР присыпает открытку с извещением, которая служит основанием для дальнейших выездных хлопот в разных инстанциях. Мне почему-то ничего не прислали — вновь непонятные «тайны Мадридского двора».

Положение с матерью жены быстрошло к трагической развязке. Она уже третью неделю не двигалась и не приходила в сознание. 1 июля администрация больницы предложила нам через несколько дней забрать мать домой: помочь ей ничем нельзя, а статистику смертей по больнице, как можно было догадаться, им не хотелось ухудшать. Да и неизвестно, сколько может еще продолжаться такое состояние.

Но уже 4 июля состояние определилось: началась агония, и жена уже не отходила от постели матери все следующие сутки.

5 июля вечером мать жены умерла, не приходя в сознание.

18 июля я позвонил в ОВИР и сказал, что готов уезжать, но попросил две недели на сборы.

Часть V

И АВГУСТ СЕМЬДЕСЯТ ПЯТОГО...

Круговорот событий, начавшихся августовской дракой в семидесят первом на даче Солженицына, замкнулся по ironии судьбы опять же в августе, но уже семидесят пятого: 7 августа этого года я улетал из Шереметьевского аэродрома Москвы, наверное, навсегда покидая Россию. Все-таки пять дней не дотянул до юбилея: это было 12 августа 1971 года, когда я беззаботно и ничего не ведая, на подъеме научной и служебной карьеры, явился за своей новой судьбой к дверям солженицынского домика под Наро-Фоминском.

Вместо паспорта, определившего меня раньше как советского гражданина, теперь мне выдали розовую бумажку, называвшуюся «Виза М № 532266, обыкновенная» (интересно, какая это еще бывает «необыкновенная» виза и кому ее дают). На этой визе было написано, что еду я «в пункт — Израиль», и еще, что «цель поездки — на постоянное жительство» (богатый русский язык!). Там же сбоку стоял такой штамп: «валюта в счет паспортной нормы выдана, Внешторгбанк СССР, 28.7.1975». Этим было указано, что мне разрешили обменять установленную для советского эмигранта максимальную сумму советских денег: 900 рублей на 124 доллара. Таким образом в дополнение к уплаченным ранее за разрешение уехать 900 рублям я отдал в банк еще 900 и получил взамен почти тысячи советских рублей чуть больше 100 долларов.

Выдавая мне визу в ОВИРе, инспектор предупредительно сказала:

— Теперь Вы должны узнать в таможне, какие ценности Вам разрешается взять с собою.

Но об этом я уже знал и думал, что особых проблем у меня не будет: никаких

особых драгоценностей или дорогих произведений искусства в нашей семье никогда не было, а я уже полтора года не работал и никаких доходов не имел. Расчитал так, что после продажи машины и кооперативной квартиры только-только и хватит, что на уплату отъездных поборов да на расплату за набранные долги. Все мои ценности, которыми я дорожил, это были книги и научные рукописи: в первую очередь, так и не защищенная докторская диссертация — итог моей многолетней работы. В диссертации было собрано все, что мне удалось закончить и домыслить, и я, естественно, предполагал использовать эти материалы, начиная на пятом десятке лет новую жизнь.

Но не тут-то было!

Вначале выяснилось, что я должен представить в центральную библиотеку имени Ленина список забираемых с собою книг, изданных до 1945 года. Я такой список сделал, полагая, что это нужно только для получения разрешения на вывоз. Но я был очень наивен: все мои книги непонятным мне способом оценили и предложили за них уплатить, то есть снова купить их у себя для себя! Вернее, покупал-то я их на этот раз не у себя, так как деньги платил в государственную кассу. Так вот и получилось, что, например, за книгу С. П. Тимошенко «Сопротивление материалов» (часть 2 издания 1938 года), которую сам я когда-то купил в букинистическом магазине за полтора рубля, мне пришлось уплатить теперь 2 рубля; за «Балки на упругом основании» А. Н. Крылова издания 1931 года — тоже 2 рубля, хотя на этой книге значилась букинистическая цена... 30 копеек. И так — за все другие книги. Чудеса! Жаль только, что принудительные и не за казенный счет.

К списку книг я добавил и свою диссертацию. Правда, не догадывался, во что ее оценят. Но через две недели мне сообщили, что центральная библиотека не может разрешить взять с собою диссертацию: это — не их компетенция.

— А кто же может? Ведь для меня это важнее остального!

— Не знаем. Обратитесь в ВАК: диссертация — это их дело.

В ВАКе произошел такой разговор:

— Вы диссертацию уже защитили?

— Нет.

— Тогда это считается Вашей частной рукописью и ВАК здесь ни при чем.

— А если бы защитил?

— Вот тогда мы имели бы право не разрешить ее увозить: защищенные диссертации — это достояние государства и их вывозить за границу нельзя.

Ого! Получается, что повезло хоть в этом: защитил бы — и мое «достояние» стало чужим, и тогда — пиши пропало, ибо «достояние государства».

— А есть кто-нибудь, кто может разрешить взять с собою свои частные, как Вы говорите, рукописи?

— Откуда нам знать? Справьтесь в таможне.

В управлении таможни мне обстоятельство объяснили, что разрешение на вывоз рукописей за границу может дать только пограничная служба аэропорта:

— Когда будете улетать, привезите на досмотр с вещами и свои рукописи. Пограничники их тут же посмотрят, и если там не будет никакого криминала, то разрешат везти.

Не будет криминала! А кто его определяет?

Во время одной из бесед в КГБ Гордеев сказал, что хочет перед моим отъездом прийти и проверить рукописи, которые я собираюсь взять с собою. Но больше он никак не напоминал о своем желании, а я, конечно, его тревожить и отрывать от важных дел своими пустяками не хотел. Тем более, что вопрос, кажется, решался и без его участия...

Что ж мне оставалось делать? И я отложил все до отъезда, как и советовали в таможне. (Каким оказался ослом! Мог бы попытаться передать свой научный архив на Запад заранее с помощью уезжающих друзей. Но еще надеялся на благоприятный исход по здравому смыслу: ведь хочу забрать свое, не чужое — свои мысли, идеи, результаты! И главное — это же не политические нападки на советские устои, не новый «Архипелаг ГУЛАГ», а просто технические «измышления» кабинетного исследователя. А раз без политики, то чего же «органам» бояться?)

Со спокойной совестью и не дрогнув сердцем я в назначенный день раскрыл свои чемоданы перед таможенниками. И точно так же, ничем не дрогнув, таможенники начали с того, что выгребли диссертацию и все другие мои рукописи и отложили в сторону:

— Это сразу уберите, чтобы не мешало досмотру.

— Позвольте, простите... (я захлебнулся междометиями) как это убрать? Именно это я и хочу взять с собою в первую очередь! Мне объясняли, что здесь пограничники проверят и пропустят.

— Кто это Вам так сказал?

— В Вашем управлении.

— Вы что-то перепутали. Но, пожалуйста, позовем пограничников, — таможенник был вежлив.

Сейчас, вспоминая процедуру проверки моих вещей на таможне в московском аэропорту, я так и не могу понять, в чем было различие функций советских таможенников и пограничников: и те и другие рылись в моих вещах, что-то выискивая, и те и другие перед моей посадкой в самолет завели меня в какую-то кабину, застা-

вили снять костюм и копались во всех карманах, под подкладкой и еще каких-то, только им ведомых, потайных местах моей одежды. Но по последнем я еще скажу.

Подошел офицер в зелено-серой форме пограничника, пролистнул за одну минуту мою диссертацию на 300 с лишним страниц, несколько подготовленных для печати научных статей и задумчиво сказал:

— Все понятно и правильно.

Я обалдело смотрел на него: мои научные оппоненты, известные маститые профессора, в свое время тоже сказали, что все в диссертации правильно, но для такого заключения им потребовалось несколько месяцев.

— А что, собственно, Вам понятно и что правильно? — спросил я.

— Понятно, что это научно-технические рукописи, и правильно, что везти их нельзя.

— Но ведь это моя незаконченная работа, там нет никаких военных секретов, нет и антисоветских материалов. Я не могу без этого уехать: в этом же большая часть существа моей жизни! И, наконец, мой личный опыт, мое научное имя здесь, — я пытался подобрать как можно более убедительные слова.

— У Вас никаких других имен, кроме Горлов, быть не может, — сообщил он мне, — а научные рукописи вывозить не разрешено. На это есть у нас своя четкая инструкция.

Вот и поспорь с инструкцией!

Я еще некоторое время горячился, пытался что-то доказывать, в чем-то убеждать. Пригрозил пожаловаться и даже сказал, что без архива вообще не поеду, но в обоих случаях он отвечал: «Пожалуйста». Под конец, когда я уже замолчал, он вдруг решил меня «утешить»:

— Ничего страшного. Раз Вы сами все это сочинили, то немного потом посидите, все вспомните и напишите снова. Еще лучше выйдет.

Дальнейший досмотр меня уже мало волновал: главное отобрали. А что там они разрешат или нет из рубашек и галстуков — неважно. Книги все пропустили — и новые, и старые, которые, как я уже говорил, мне же повторно и продали.

Таможенник, проверявший мои вещи, был словоохотлив и временами подавал реплики: «А спальный мешок-то пахнет походами» или «„Зенит“ неплохой фотоаппарат, на Западе пригодится». В одном из чемоданов прямо сверху лежала большая, 20 на 30 см, фотография Солженицына с его государственной надписью.

— А это кто?

— Мой дядя.

— Ничего дядя, приятный.

— Спасибо, не жалуюсь.

И еще один инцидент произошел уже перед самым выходом к летнему полю,

когда мой багаж был куда-то отправлен, а я шел налегке к самолету.

Передо мной оказался новый таможенник. Он завел меня в закрытую кабину и начал обшаривать все мои карманы. Для меня эта омерзительная процедура явилась полной неожиданностью, и я немного растерялся. Однако протестовать не стал, решив, что уже недолго осталось и можно потерпеть. Но тут «старатель» вытащил из моего бумажника несколько листочеков и стал их внимательно разглядывать. Вдруг он покраснел и даже как-то странно зашевелил ушами. Листочки эти были копиями: письма Солженицына Андропову по поводу той «драки» на даче, письма Солженицына мне, моей знаменитой характеристики с «низким уровнем морально-политических качеств» и, наконец, официальной справки о посмертной реабилитации отца, убитого НКВД в 1938 году.

— Сидите здесь и никуда не выходите! — рявкнул он и выскочил наружу. Через несколько минут ко мне в кабину просунулись уже двое: мой таможенник и какой-то косоватый офицер в зеленой форме пограничника. Последний держал отобранные у меня трофеи — эти листочки:

— Вы зачем это все с собою везете?

— А вам-то что за дело? — я уже расцвирепел и стал терять голову. — Все эти бумаги касаются меня лично и я должен иметь их при себе.

— Но это же чистейшая антисоветчина!

— Что за чепуха? Если Вы говорите о копиях писем Солженицына, то в них говорится обо мне и на Западе о них давно известно. Характеристика же и справка о реабилитации отца выданы мне официально советскими органами. Если Вы считаете, что эти органы сочиняют антисоветчину, то при чем же здесь я?

Минуту-две длилось молчание, потом пограничник сказал:

— Посиди с ним, я сейчас вернусь.

Мы «посидели» вдвоем минут десять: я уже стал опасаться, что самолет улетит без меня. Наконец, появилось новое лицо, тоже в зеленой пограничной форме, но чином повыше предыдущих. Лицо протя-

нуло мне лишь копию моей характеристики и сказала:

— Это можете взять и езжайте.

— А остальные бумаги?

— Те конфискованы как антисоветские материалы.

— Но верните хотя бы справку о реабилитации отца. Его же убили «предатели» Ежов и Берия во времена осужденного «культы личности». Должен же я иметь хоть какой-то документ о смерти своего отца? И как можно такую справку считать антисоветским документом?

— Разговор окончен, всего хорошего. Попспешите, если не хотите опоздать на самолет, — и он ушел.

Я еще немного постоял в нерешительности, а потом решил на все плонуть и побежал догонять последних пассажиров, направлявшихся к самолету.

В конце концов, как говорят у нас: «Снявши голову, по волосам не плачут». Я уже находился в том странном новом состоянии, когда рвутся корни, а земля, державшая их, остается где-то позади. Вся эта громоздкая, холодная и хитрая среда всеобщей слежки и обманивания людей, в которой я жил до сих пор, среда произвола и беззакония, уже отлипала от меня и уходила в сторону. Известно, что во всякой среде обитания любая живность в ней должна приспособиться к существованию: отрастить нужные плавники, чтобы передвигаться и увиливать от опасностей, специальные жабры — чтобы дышать той атмосферой и не отравиться. А не можешь — так выползай на камни иного мира и пробуй там. Иначе остается только погибать, особенно, когда на тебе поставили уже яркую отметину, с которой в общей серой массе нигде от акул не спрячешься.

Вот и думал я, что нахожусь уже почти что в другом мире, где все равно придется начинать жизнь с нуля, но где зато ничто не напомнит мне о «прелестях» передового советского общества и «милых» встречах с КГБ. Но, кажется, я поторопился в суждениях о неизвестном...

Сентябрь 1971 — Сентябрь 1975.
Москва, Рим